



Часть третья

ПРЕШПУРХСКИЙ ЦАРЬ

Петр вырослел — и духом еще быстрее, чем телом. Как это часто бывает с родителями, Наталья Кирилловна заметила перемену в сыне случайно, благодаря постороннему взгляду. Зимой 1682 года Москву посетил шведский путешественник Кемпфер. Он имел верительную грамоту от короля и потому удостоился приема в Кремле у обоих царей. Братья сидели в посеребренных креслах под иконами. Иван, надвинувший шапку на брови и опустивший глаза в землю, оставался совершенно неподвижным. Зато Петр вертелся в кресле и смотрел во все стороны, смущая бояр, задетых неприличной резвостью государя. Когда Кемпфер подал свою верительную грамоту, цари должны были по обычаю встать, чтобы спросить о здоровье короля. Петр не дал времени окольным боярам принять себя и брата под руки — стремительно вскочил и, приподняв шапку, скороговоркой выпалил определенную церемониалом фразу: «Его королевское величество, брат наш Каролус Свейский, здоров ли?» Кемпфер поблагодарил, ответил, что его государь отменно здоров и недавно отпраздновал появление на свет наследника, принца Карла, рождение которого было отмечено множеством знамений и чудес. Они еще немного поговорили, обменялись подарками. Уходя, Кемпфер осведомился у бояр, сколько лет младшему московитскому государю. Услышав ответ, удивленно поднял брови. Одиннадцать? Он думал, что никак не менее шестнадцати.



Когда Наталье Кирилловне передали эти его слова, она внимательнее присмотрелась к сыну. А ведь верно! И телом крепок не по годам, и в лице какая-то недетская серьезность... Конечно, еще дитя, но тем заметнее, тем необычнее эти признаки ранней мужественности. Даже как-то страшновато...

После казни князя Хованского и подавления второго стрельцкого бунта, — когда Софья ненадолго вывезла все царское семейство в Троицу, — Наталью Кирилловну с сыном и родственниками вновь выселили из Кремля в Преображенский дворец. Но теперь Преображенское с окрестностями уже не было тем веселым, многолюдным, цветущим поместьем, каким его создал царь Алексей Михайлович и каким оно оставалось при Федоре Алексеевиче. Софья выдавала Наталье Кирилловне жалкие крохи тех сумм, которые прежде тратились на содержание царичьиного двора. Обширные пашни вокруг Преображенского, ранее старательно возделываемые, зарастали травой, рыбные пруды затягивались ряской, сады глохли, мельницы и хитрые немецкие машины, поднимающие воду на высоту, ветшали без употребления, в ригах и амбарах, наглухо заколоченных, пылился теперь уже никому не нужный хозяйственный скарб. Сокольничий, Звериный, Скотный дворы, конюшни — все запустело; многочисленная прислуга слонялась без дела, проживая безгрешно накопленное и тайком подворовывая бесхозное царское добро. В самом дворце многие комнаты зарастали паутиной и пылью — жить в них было некому: от бывшего придворного штата не осталось и трети.

Со смертью Ивана и Афанасия Кирилловичей и пострижением Кирилла Полуектовича место старшего мужчины в роде Нарышкиных занял брат Натальи Кирилловны, Лев, щеголеватый и добродушный молодой человек. Следуя польской моде, он брил бороду и коротко постригал усы, зато отращивал свои прямые темно-русые волосы, зачесанные назад, за плечи. Во дворце его любили, особенно прислуга, потому что Лев Кириллович был всегда готов оказать благодеяние без всякого на то резона, — просто под влиянием хорошего расположения духа, которое редко его покидало.

Другим распорядителем дел в Преображенском сделался князь Борис Алексеевич Голицын, выдвинутый голицынским родом, сохранившим нерасположение к Софье, в противовес отщепенцу, князю Василию Васильевичу, которому Борис Алек-



сеевич приходился двоюродным братом. Образованный, начитанный, властный, подверженный вспышкам необузданного гнева, он был полной противоположностью Льва Кирилловича во всем, кроме одного — оба не любили ложиться спать трезвыми.

Предоставив им ведение дворцовых дел, Наталья Кирилловна отчаянно скучала. Она не допускала и мысли о том, чтобы подчиниться обычаю и уйти в монастырь. Разве не довольно того, что она и так живет в Преображенском как затворница? Оскорбить придворные приличия она не боялась: после бури в царском тереме, появления Софьи в Думе и на похоронах Федора Алексеевича, после воцарения сразу двух государей и других событий последних лет все представления о приличиях оказались сильно поколебленными. К тому же она не считала все потерянным. Обратный путь в Кремль ей не заказан — нужно только дожждаться совершеннолетия Петруши. Конечно, должны пройти годы — лучшие годы! — но ведь нельзя исключать, что и до этого времени какой-нибудь счастливый случай может вернуть утраченное положение... Майские убийства только теснее сплотили противников Софьи вокруг Натальи Кирилловны и Петра, а с гибелью Ивана Кирилловича пропало и предубеждение бояр против Нарышкиных. Голицыны, Долгорукие, Шереметевы, Стрешневы, Ромодановские сделались частыми гостями в Преображенском. Пылая жаждой мести за убитых родственников, вспоминая собственный пережитый страх, они в беседах с царицей и Львом Кирилловичем давали выход своей затаившейся ненависти. Теперь-то ясно, кто верховодил стрельцами! Ныне вот они, у всех на виду — Сонька, Милославский и Васька Голицын, окаянная троица, прости Господи... Все у них в руках, всем распоряжаются от имени обоих государей. И кто знает, что там у них еще на уме? Преображенское нынче, что Углич, — царице нужно зорко следить за сыном государем Петром Алексеевичем, кабы чего худого не вышло... Слушая такие разговоры, Наталья Кирилловна испуганно крестилась и спешила к окну, посмотреть, что делается на Потешном дворе. Слава богу, все хорошо, — вон ее дитятко тешится с сабелькой... Немного успокоенная, она снова садилась в кресло, но сердце продолжало тревожно ныть. Ох, правы бояре, надо смотреть за сыном недреманным оком; однако как это сделать, если он минуты лишней не посидит с матерью, а на Потешном дворе только что не ночует?



Ей удавалось удержать Петра во дворце лишь в утренние часы, отведенные для занятий с Зотовым. Хотя Никита Моисеевич откровенно признался, что учить воспитанника ему дальше нечему, ибо в знании церковного круга, чтении и письме Петр Алексеевич преуспел довольно, Наталья Кирилловна сочла за лучшее оставить подьячего при сыне — пусть Петруша лишний раз поупражняется в чтении божественного. Правда, увидев однажды, как Зотов несет в починку продырявленный глобус, она усомнилась: и чем они там занимаются? Однако, подумав, решила не вмешиваться: все дитя не на улице.

А занимались они тем, что Петр, усадив Зотова за стол, диктовал: великий князь Московский, царь и самодержец всея Великия, Малыя и Белья Руси, государь Петр Алексеевич велит прислать ему из Оружейной палаты потребные для его государевых потешных игр шпагу немецкой работы, крыж золотой, восемь потешных деревянных пушек, посеребренных, колеса железом оковать, а также прислать карабинов и мушкетов столько-то штук... копыя... пороху столько-то фунтов... свинец... дробь...

Сам он бывал в Кремле редко — только во время торжественных приемов иностранных послов, когда требовалось присутствие обоих царей. Кремль раздражал его воспоминаниями о страшных сценах на Красном крыльце и утомительностью придворных церемоний. Петр не задумывался о причинах и виновниках его вторичного переселения в Преображенское просто потому, что не видел в этом ничего плохого для себя. Имена Софьи, Милославского, Голицына, которые он ежедневно слышал от матери и ее гостей, мало что значили для него и оставляли в нем ощущение смутной неприязни, не более. И все же он не мог не замечать странной двусмысленности своего положения. Еще вчера он был окружен благоговением и восхищением, видел вокруг себя довольные лица матери, родных и близких, сановитые бояре с окладистыми бородами, в бархатных и парчовых одеяниях подходили к его руке с низкими поклонами, его имя провозглашалось патриархом как великого государя и самодержца. А сегодня он словно в изгнании, хотя по-прежнему и царь, но второй, и мать с родными неумолчно твердят ему о похищенном у него венце. Все это непонятно и крайне досадно. Впрочем, думать об этом неохота. Главное — он все-таки царь и, значит, наконец-то может устроить потешное дело пошире.



Свое тринадцатилетие Петр отметил знатной огнестрельной потехой. Ему давно надоели деревянные пушечки, стрелявшие деревянными ядрами, обмотанными тряпьем; хотелось настоящей стрельбы — с огнем, с дымом, с грохотом. Он потребовал в Пушкарском приказе шестнадцать медных пушек и знающего огнестрельного мастера. Пушки привезли; с ними в Преображенское явился капитан Симон Зоммер, коротконогий бранденбуржец с пышными пшеничными усами. Петр поделился с ним своими планами. Зоммер понимающе кивнул. Молодой царь хочет взорвать потешную крепость? Шерт фосми! Он, капитан Зоммер, ручается, что крепость самым отличным образом взлетит к шертоф матер.

На Воробьевых горах быстро возвели деревянный городок, опоясанный рвом с валом. Половину своих ребяток Петр посадил в ров, приказав не высовываться до окончания пальбы, с другой половиной приготовился к штурму. По команде Зоммера пушкари навели на крепость орудия. Первый залп снес переднюю стену. Зоммер приказал перезарядить пушки. Петр, не утерпев, подбежал к одному из орудий и сам запалил фитиль. Залп следовал за залпом. С наслаждением вбирая носом запах пороховой гари, оглушенный Петр с восторгом наблюдал, как бомбы с пронзительным свистом перелетали вал, как рушились стены, башни, как ослепительные вспышки высоко подбрасывали бревна, взметывали в воздух щепки, комья земли...

Петр остался чрезвычайно доволен первой огнестрельной потехой. Симону Зоммеру и другим пушкарям велел выдать в благодарность по портнищу сукна.

Назад в Преображенское Петр провел потешное войско строем через всю Москву. Сам шел впереди с барабаном через плечо, задавая шаг. После этого к нему в потешные, в барабанную науку, стали записываться сыновья окольных и стольников и даже взрослые бояре — князь Борис Алексеевич Голицын, Лев Кириллович Нарышкин, Тихон Никитич Стрешнев, Гаврила Иванович Головкин, Петр Васильевич Шереметев. Народу набралось порядочно — на две роты. Петр распорядился всех одеть в солдатские кафтаны иноземного покроя. Ходил с ними в походы — к Троице, в Макарьев Калязинский монастырь, в пути строил и брал земляные городки. Потешный двор в Преображенском стал похож на настоящий воинский стан — с валами, утыканными рогатками, с караулами. Засыпая ночью под протяжную



переключку дозорных, Наталья Кирилловна думала: баловство, конечно, забавы детские, а все как-то спокойнее...

Князь Василий Васильевич Голицын дома теперь ночевал редко; обыкновенно просыпался он в Софьиной опочивальне, на широкой пуховой кровати, за кизилбашской дымчатой занавесью с вытканными по ней разноцветными шелками птицами и травами, поверх которой свисал полуоткиннутый золотой атласный полог с узорочьем. Кровать была резная, ореховая, обитая цветной камкой, на четырех деревянных пуклях с птичьими когтями. По ее углам четыре витые столпа поддерживали балдахин, под куполом которого царевне с князем лукаво улыбалась позолоченная нагая Венера, державшая в правой руке яблоко, а в левой одежду.

В спальне было тихо, ни один звук не доносился из-за дверей и плотно закрытых ставен. Казалось, останься тут — и целый век никто не нарушит сладостного уединения. Однако Голицыным все чаще овладевали беспокойные мысли. Все как-то зыбко, неустойчиво. Вот он сделался первым лицом в государстве. Распоряжается, ведет переговоры с иностранными державами, его милости домогаются тысячи людей. Но на чем основаны его власть, его могущество? Да, в сущности, ни на чем — то есть на близости с этой стареющей властолюбивой женщиной, которая тоже непонятно по какому праву управляет страной от имени младших братьев. Нет, он не станет врать самому себе — он пошел на эту связь легко и охотно, зная, что она принесет ему власть и почет. Он любит эти две вещи, он стремился к ним — но разве для себя, для одного себя? Его планы преобразований — разве они нужны ему одному? Однако его рукопись по-прежнему лежит под сукном, все время, все силы уходят на залатывание старых прорех, которые тут же расползаются вновь, на сиюминутные мелочи, на удержание власти. Пока что его боятся, но страх не может длиться вечно. Уже сейчас Нарышкины при всяком удобном случае показывают, что могут распоряжаться делами по своему усмотрению, не спрашивая его согласия. Вот недавно Петр без его разрешения забрал из Оружейной палаты шестнадцать медных пушек и взял для своих потех из Бутырского полка генерала Гордона всех барабан-



щиков и флейтщиков. Что же будет дальше, когда он подрастет и достигнет совершеннолетия? Невозможно править, опираясь на силу нескольких стрелецких полков; ему и Софье необходимо закрепить свое положение какими-то официальными титулами. Иначе остается только ждать, когда однажды эту дверь высадит мятежная толпа...

Вслух он о своих опасениях не говорил. Но Софья словно догадывалась о его мыслях. Как-то, взяв с ночного столика костяной гребень с позолоченной ручкой, она перебросила волосы на левое плечо и долго водила по ним частыми зубьями. Молчала, ожидая, что он спросит, о чем она думает. Он спросил. Она пристально посмотрела на него. Им надо повенчаться.

Голицын опешил. Как «повенчаться»? Он ведь женат...

Пустое. Пусть скажет своей старухе, что пора ей в монастырь, на безгрешное житие. Патриарх разведет его.

Застигнутый врасплох, Голицын лихорадочно соображал. Ему было жалко жену, с которой он прожил в полном согласии почти двадцать лет, прижив двоих сыновей. И так терпит, бедная, его ночные отлучки... А теперь еще своими же руками упрятать ее в монастырь? Зачем все это? Ведь его жена не мешает им встречаться.

Взгляд Софьи стал жестким. Жалеет, значит, свою старуху? Или думает, что им можно остановиться на полдороге? Да разве он еще не понял, что развод нужен прежде всего ему самому? А она, Софья, только его счастья хочет... Не знала бы про его высокий жребий, оставила бы при жене, — живи, сокол ясный, бог с тобой... Ну хорошо, она растолкует ему, как можно без открытого мятежа закрепить за собой престол. Сперва они женят Ивана и подыщут его жене любовника, чтобы сделал ей ребенка, — братец один тут не справится. Затем объявят выблядка наследником и заставят Думу постричь второго царя в монахи, за ненадобностью. Потом разгласят о распутстве молодой царицы, наследника признают незаконным, а Ивана — неспособным к правлению как слабоумного и припадочного. Бояре, народ, стрельцы зашумят: кому царствовать? А им подскажут: кому же, как не правительнице царевне Софье Алексеевне и ее законному мужу, первому думному боярину князю Василию Васильевичу! А там, даст Бог, она родит ему сына, а государству наследника. Первого-то ихнего... пришлось выгнать... Она больше так не хочет, грех это...



Раскинув белокурые локоны по червчатой атласной подушке, Голицын смотрел в потолок, на голую Венеру, которая протягивала ему яблоко. Или не яблоко — державу? Ему было страшно.

В начале зимы 1684 года при дворе было объявлено о свадьбе царя Ивана Алексеевича с Прасковьей Федоровной Салтыковой. Но первый назначенный срок пришлось перенести — Иван свалился в падучей прямо в день венчания. На второй раз все прошло хорошо.

На радостях Софья сыпанула в сторону Преображенского алмазными искрами: послала Петру усеянного бриллиантами золотого орла на знамя и бриллиантовые же запоны на кафтан. Пусть тешится, волчонок, недолго ему осталось.

Придворный врач-итальянец, выбранный Софьей в любовники царице Прасковье Федоровне, свое дело сделал: живот у царицы к лету округлился. Софья богато одарила врача, но выяснилось, что он сделал свое дело только наполовину — Прасковья Федоровна родила девочку. Софья скрипнула зубами и приказала итальянцу возобновить посещения царицыной опочивальни.

Она боялась услышать упрек от Голицына, который к этому времени развелся с женой. К ее большому облегчению, князь Василий Васильевич тактично замолчал неудачу ее плана. Зато он решительно воспротивился ее предложению немедленно повенчаться, сказав, что такой шаг непременно вызовет вспышку недовольства. Надо тщательно подготовиться. Их союз должен быть освящен каким-нибудь блестящим государственным деянием, которое ослепит народ и заставит умолкнуть недовольных. Софья, подумав, согласилась с ним. Однако блестящие государственные деяния — не женское дело. Готов ли он что-нибудь предпринять и что именно? Голицын ответил, что да, готов. Он как раз сейчас работает над этим вопросом. Скоро он посвятит ее во все подробности.

Князь Василий Васильевич в последнее время много размышлял о своем будущем. Хотя далеко идущие планы Софьи его пугали, их неуспех испугал его еще больше. Он вернулся к мысли о том, чтобы закрепить свое значение при дворе и в Думе каким-нибудь пышным титулом, который придаст бы его положению первого лица в государстве вид законности. Но ему было ясно, что без острой приправы славой вкус самого громкого титула покажется толпе невыносимо пресным. Славу могли



принести выгодный мир или удачная война; причем для того, чтобы оправдать его притязания, мир должен был быть неслыханно выгодным, а война небывало удачной. Поэтому Голицын обратил свой взор на российские рубежи.

В то время наиболее сильными и беспокойными соседями России были три государства: Швеция, Речь Посполитая и Крымское ханство, находившееся в вассальной зависимости от Турции. Каждое из них или владело захваченными исконными русскими землями, или неоднократно разоряло их; война против кого-либо из них была невозможна без союза с другими.

Шведы появились на русском Севере после того, как царь Василий Иванович Шуйский призвал их на помощь против Тушинского вора, уступив за это Карлу IX Корелу, или Кексгольм. Пятитысячный шведский отряд помог Шуйскому одолеть самозванца; но в последующей войне с Польшей, в решающей битве при Клушине, шведы перешли на сторону поляков и, воспользовавшись наступившей смутой, захватили Новгород и Водскую пятину. Царь Михаил Федорович после своего воцарения вынужден был торжественной клятвой за себя и своих потомков отказаться на вечные времена от Ивангорода, Яма, Копорья, Орешка и Корелы. Отныне шведские короли стали именовать себя государями земли Ижорской. Царь Алексей Михайлович пытался вернуть утраченное, но, потерпев неудачу под Ригой, подтвердил в Кардисе клятву своего отца.

С тех пор Швеция мало уважала Россию: ее правители отказывались давать русским государям титул царского величества, именуя их только великими князьями Московскими, закрывали православные храмы в захваченных землях, московских послов теснили и бесчестили. Дошло до того, что царь Федор Алексеевич при своем вступлении на престол отказался подтвердить Кардисский договор. Однако шведский король Карл XI и слышать не хотел ни о каких уступках. Федор Алексеевич также остался непреклонен и умер, не подтвердив договора в Кардисе.

Не менее запутанно складывались отношения с Речью Посполитой. По Андрусовскому тринадцатилетнему перемирию Польша возвратила России Смоленское и Черниговское воеводства и признала воссоединение с Россией Левобережной Украины; что касается Киева, то поляки согласились оставить его московским государям во временном владении, до окончания срока перемирия, взамен на обещание воевать с султаном.



Однако тринадцать лет давно истекли, а Киев продолжал оставаться под русским скипетром. Обе стороны не возобновляли войну и не могли договориться о прочном мире.

Тридцать девять раз сходились полномочные послы России и Речи Посполитой в порубежном селе Андрусово, чтобы согласовать спорные пункты мирного договора. Поляки требовали Киева и сердились, почему Москва не начинает войну с султаном. Русские послы выставляли в ответ нестерпимые обиды, которые чинили поляки московским государям во время перемирия: то назовут их в официальных бумагах Александром Михайловичем и Федором Михайловичем, то издадут пасквильные книги в поношение русскому государству, а в тех книгах черным по белому написаны такие слова, что и помыслить страшно: «неверная Русь», «дурная Москва». Или вот, издана в Кракове книга в стихах «Лирика», посвященная королевичу Иакову, и в ней непристойным образом прославляется победа над Шереметевым при Чуднове:

Слава Богу! Москаль жидоголовый
Тяжкими бряцает на ногах оковы.
А что недавно Польше путами грозили,
Сами ж себя в неволю тяжку посадили:
Слили кровью своею Чудновское поле.

Поляки улыбались: книги эти печатались частными людьми, и ни король, ни сейм за них ответственности не несут, а на описки в имени государевом обижаться нечего, — дело это не важное. Пускай бояре в Москве пишут и называют их короля как хотят, — они обижаться не станут. Русские послы возмутились: «Как смеее вы говорить подобные речи? За честь нашего государя мы готовы головы свои положить!» Так разгневались, что едва тут же не объявили войну.

А пока длились бесплодные препирательства, в Москве успели, благодаря снисходительности Цареградского патриарха и содействию гетмана Самойловича, подчинить Киевскую митрополию Московскому патриархату.

Что касается Крыма, то никакой твердой политики по отношению к нему быть не могло, — по той простой причине, что хан никогда не придерживался заключенных договоров. Москва то страдала татарами поляков, то спускала на Крым



запорожцев. Турция после неудачной осады Чигирина оставила свои попытки проникнуть на Украину.

Голицын напряженно думал, в каком направлении следует сосредоточить усилия московской дипломатии. Подтверждение Кардисского договора не сулило никаких лавров; вместе с тем война со Швецией была чрезвычайно опасной и вряд ли могла принести быстрый успех. Надеяться на новые приобретения в Польше и Литве не приходилось: тут следовало думать, как удержать Смоленск и Киев. Воевать с татарами, не договорившись с Польшей, бессмысленно. Что же предпочесть?

Решение пришло само собой. Неожиданно в Москве получили известие о неслыханном побииении турок под стенами Вены союзными войсками под предводительством польского короля Яна Собеского и французского принца Карла Лотарингского; победители захватили в турецком лагере такое количество золота и серебра, что, не в силах унести все с собой, раздали остатки венцам. Вслед за тем польские послы в Андрусове известили бояр о желании короля Яна заключить с Россией вечный мир, чтобы вместе воевать султана и спасти христианство от угрозы порабощения неверными.

Князь Василий Васильевич с легким сердцем отказался от ижорских болот. В присутствии шведского посла Гильденстерна и думных бояр цари Иван и Петр в Грановитой палате подтвердили Кардисский трактат крестным целованием над Евангелием. В Андрусове польским послам было сказано, что великие государи готовы выслушать предложения короля Яна.

В начале зимы 1686 года по санному пути посполитые послы двинулись в путь. Никогда еще Москва не видела столь пышного посольства. Во главе его стояли четверо знатнейших сановников Речи Посполитой. Первым был ясновельможный пан Криштоф на Гримультовицах Гримультовский, воевода Познаньский, маршалок королевского величества, староста Костянский; вторым — ясновельможный пан Марциан Александр с Козельска князь Огинский, граф на Дубровне, канцлер Великого княжества Литовского, староста Мсциборский, Радошковский, Дорсунский, Немонойский и Сидричинский. Оба ясновельможных пана были назначены из сената. Третьим был посол из Великой Польши, ясновельможный пан Александр Приемский, коронный подстолий Остринский; и наконец, четвертым был посол из Малой Польши, вельможный пан Александр Ян с Потока Потоцкий,



каштелян Каменецкий, его королевского величества полковник. Послов сопровождала огромная свита — до тысячи шляхтичей, пахоликов, коморников, покоевых, драгун, трубачей, поваров и прочей челяди.

В Москве приняли заблаговременные меры, чтобы не ударить лицом в грязь. Послам и их свите отвели четырнадцать каменных палат, девять изб и три деревянные горницы; для полутора тысяч посольских лошадей очистили конюшни в монастырях Симонском, Спасо-Андрониевском и Новоспасском. На еду людям и корм лошадям выделили из казны по пятисот рублей в неделю.

От имени князя Голицына послов встречали в селе Всесвятском, что за Ходынкой, подьячие Посольского приказа Кондрат Никитин и Алексей Васильев. В благодарность послы пили много венгерского за здоровье князя Василия Васильевича.

Въезд посольства в Москву напоминал вступление дружественной армии. Все четыре посла сидели в одной карете, по бокам которой верхами ехали подьячие. Сзади тянулись нескончаемые ряды польских всадников и необозримый обоз. Посольский поезд двигался по живому коридору, образованному стрелецкими и дворянскими полками.

Когда посольская карета въехала в черту города, московские и иноземные музыканты ударили в литавры, затрубили в трубы. У каждого из боярских дворов послам отдавал честь конный отряд. Удивленные многочисленностью московского войска, послы у каждого боярского дома спрашивали: «Что это за люди? А эти? А те?» Подьячие, наклонясь с седел к окнам кареты, важно поясняли: «То люди выборные, служилые и к ратному делу привычные; служат всегда при дворе царском». Паны в ответ хвалили вооружение и выучку дворянской конницы. Однако, утомленные медленным шествием, они вскоре начали интересоваться, для чего везут их мешкотно и без конца останавливают. Подьячие отвечали, что из-за многолюдства впереди проход труден. На самом деле Голицын хотел изумить поляков могуществом России.

Наконец послов доставили в Кремль, где им была дана аудиенция у обоих царей. Обращаясь преимущественно к Петру, пан Гримультовский сказал пышную речь о доблестях своего государя и его желании вместе с русскими царями воевать турок. Затем он зачитал список подарков — в нем были лошади, карета, золотая и серебряная утварь.



На другой день приступили к делу.

Больше всего Голицын боялся за Киев. Московское правительство четырежды отсрочивало передачу его Польше; последний срок истек два года назад. Думным и посольским боярам, которые вели переговоры, было велено говорить, что Киев задержан правдой: Чигиринский гетман Дорошенко хочет-де уступить его султану, а король польский не в силах будет защитить того края. Однако послы, как и ожидалось, уперлись: давайте Киев назад. Бояре начали перечислять вины поляков. Вот какие несносные описки делали они в царском титуле: «государь и обладатель», а польского короля именовали в грамотах, в нарушение Андрусовского перемирия, «королем Киевским, Смоленским, Северским и Черниговским». Еще: с королевского дозволения напечатана в Кракове «Леторасль Корибутская», — на первом листе изображен королевский герб с латами, шишаками, колчанами, а под ним надпись: «У Москвы и у татар взятое»; на тринадцатой же странице напечатано: «Тем мечом змий татарский и змий же ядовитый четвероногий Московский, крепко вооруженный, познал себя безоружным десницею Казимира, короля на Руси и Литве». А в другом пасквиле благоверный царь Алексей Михайлович назван в четырнадцати местах просто москвитянином, и про него же написано, что он не знаком с наукой, не воспитан в истинном учении святых отцов и церкви и отовсюду мраком окружен. И, несмотря на желание заключить с Россией вечный мир, король продолжает бесчестить великих государей: в посольской верительной грамоте написал «Ивану» вместо «Иоанну». После таких нестерпимых досадительств никогда Киев отдать невозможно. Притом уж и без того много возвращено Польше из завоеваний царя Алексея Михайловича, а на содержание Киева за эти годы употреблена большая казна, а потому об отдаче его говорить не годится.

После жарких семинедельных споров склонили, наконец, посполитых послов к уступке Киева, обязуясь за это, со своей стороны, поднять оружие на татар и турок.

Но тут же возникли жестокие прения о вознаграждении за Киев. Послы требовали миллион злотых, или 200 000 рублей. Бояре долго отказывались платить, потом предложили 100 000, затем накинули еще 40 000 рублей — и на том упорно остановились. Послы тоже не уступали ни гроша. Думая испугать Голицына разрывом переговоров, они объявили о своем отъезде.



Но цари в присутствии князя Василия Васильевича как ни в чем не бывало дали послам прощальный прием и отпустили, велев кланяться брату своему королю польскому. На Посольском дворе стояли подводы, готовые к отъезду. Послы, однако, не уехали.

Спустя несколько часов они послали к боярам гонца сказать, что ради великого и полезного всему христианству дела уступают 50 000. Теперь Голицын был уверен, что за обещание войны с султаном обдерет поляков как липку.

Вместе вновь засели в Думе, составили проект договора. И опять распря: оказывается, бояре приписали к Киеву города и земли, о которых прежде и речи не было, — Чигирин, Канев и Черкассы. На жалобу Гримультовского Голицын отвечал наотрез: «Своей записи вечного мира мы не изменим, а если господа послы не хотят тех городов вписать за царскими величествами, то пусть едут с Москвы не мешкая».

Поляки спорили два дня, на третий начали собираться; прислуга бегала по двору, упаковывая и укладывая вещи. Но прошло еще три дня, а послы все еще были в Москве.

На седьмой день они согласились и на уступку городов. Вновь сели с боярами за договор. Придирчиво читали пункт за пунктом, взвешивая каждое слово, спорили жарко и упорно, вставали из-за стола, шептались друг с другом в стороне... Наконец после взаимных малозначительных уступок переписали договор набело. В тот же день цари в Грановитой палате подтвердили запись вечного мира присягой перед послами и боярами.

Вечером Софья преподнесла Голицыну давно заготовленные подарки: титул яснеоченного князя, должность наместника Новгородского и звание царственной большой печати и посольских дел сберегателя. Кроме того, он получил в награду полуторафунтовую золотую чашу, кафтан атласный золотный на соболях в четыреста рублей, прибавку к жалованью двести пятьдесят рублей да в вотчину — богатую волость Белгородскую в Нижегородском уезде, принадлежавшую ранее боярину Ивану Михайловичу Милославскому, не дожившему до заключения вечного мира.

Подданных Софья оповестила о великих своих успехах: «Никогда еще при наших предках Россия не заключала столь прибыльного и славного мира, как ныне. Отец и брат наш владели Смоленском, Черниговом и Малороссийским краем только временно, до окончания перемирия, а богоспасаемый град Киев трижды клялись перед святым Евангелием возвратить Польше.



Отныне все наше и навеки. Мы же не уступили Польше ни одного города, ни места, ни местечка... Преименитая держава Российского царства гремит славою во все концы мира».

Плохо сдерживая нетерпение, она ждала, когда Голицын заговорит о венчании. Но он молчал. Тогда она спросила его сама: не пора ли? Он ответил, что рано, прежде надо выполнить обязательство перед королем Яном — разорить Крым. Софья не поняла: выполнить обязательство? Глупости! Зачем? Голицын тонко улыбнулся. Он тоже хочет кое-что подарить ей. После его возвращения из похода она сможет принять титул самодержицы. Так им будет легче вступить в брак.

Он был невыразимо прекрасен в своем золотном кафтане на соболях. Да, он герой, ее витязь, сберегатель!

В Варшаву к Яну Собескому поехали московские послы за подтверждением вечного мира. Во время присяги, произнося слова трактата об отказе от Киева, король не удержался, заплакал. Впрочем, ласкал московских послов как нельзя более: на королевских пирах они занимали первое место, выше польских сенаторов, и неоднократно играли в карты с королевой.

Сразу же после отъезда послов Собеский объявил войну султану. В Москве начались приготовления к походу в Крым.

Всю зиму в течение переговоров у Петра ныло сердце — он завидовал Голицыну, готовящемуся к настоящей войне. Злился: ведь это он, второй царь, должен начальствовать над войсками. С тем его и выбирали. Его собственные потешные игры казались несерьезной детской забавой. Ему впервые пришлось в голову, что над ним могут смеяться.

Все, хватит. В самом деле, пора взрослеть. Его считают юнцом? Не хотят доверить ему войско? Хорошо. Он создаст свою армию. Гвардию. Преданную только ему. Послушную одному ему. Итак, решено: он производит своих потешных в гвардейцы. Отныне они — гвардейский его величества Петра Алексеевича Преображенский полк.

Он заказал для потешных одинаковые зеленые кафтаны иноземного покроя. Впервые лично нагрянул в Оружейную палату. Там у него разбежались глаза. В возбуждении хотел было всю ее немедленно перевезти в Преображенское, но, успокоившись,



указал нужные вещи — настоящие пищали, мушкеты, карабины, шпаги, знамена... Набралось несколько возов. Потом заехал в Конюшенный приказ и забрал оттуда конскую упряжь для артиллерии. Все это — не спросясь Голицына.

Обрядил потешных в кафтаны, построил. Досадливо поморщился. Нет, не гвардия — толпа, никакого вида. Потребовал у Голицына прислать дельных офицеров из немцев. Завел ежедневные солдатские учения. В Преображенском загремели барабаны, зазвучали свистки, заиграли флейты, раздались команды: слушай, налево, кругом, левое плечо вперед! Петр вместе со всеми послушно шагал, выделял воинские артикулы ружьем.

В гвардию валом повалили безработные придворные конюхи, дети бояр, стольников и окольных. Вскоре Потешный двор оказался слишком тесен. Петр посоветовался с Симоном Зоммером. Он не хочет строить новый потешный городок. Нет, это должна быть настоящая крепость, его стольный город, со звучным именем. Бранденбуржец понимающе кивнул. Кажется, он может помочь царскому величеству. В молодости он служил в имперских войсках. Их гарнизон квартировался в Пресбурге. Славная крепость, выдержала немало осад. Если молодой царь прикажет, он сделает чертежи ее укреплений. Петр на мгновение задумался. Прешпурх... Что ж, отлично! Пускай будет Прешпурх. Стольный город Прешпурх.

Они прошлись по берегу Яузы и выбрали место — прямо напротив дворца. В конце зимы сюда стали свозить строевой лес — дубовые, сосновые, еловые, липовые бревна, доски, тесницы, брусья, лубье, каменный и железный материал. Зоммер наметил расположение стен, башен, окопов, бастионов. Зотов, которому было скучно одному во дворце, пристроился к Петру кем-то вроде секретаря. В конце февраля, когда начал таять снег, приступили к земляным работам. Петр возил тачку с землей, рубил бревна; изумление матери, с испугом глядевшей вечером на его грязные руки и запачканный кафтан, доставляло ему искреннее удовольствие. Вслед за царем боярские дети также взялись за лопаты и топоры.

Между тем Голицын готовил дипломатическую почву для летнего похода в Крым. Он отрядил несколько посольств к европейским дворам, чтобы известить их о предстоящей войне и побудить оказать помощь в общехристианском деле.



В первых числах марта в Преображенское приехал князь Яков Федорович Долгорукий, сторонник Нарышкиных. Он был назначен послом во Францию и заехал проститься с Натальей Кирилловной и Петром.

Петр повел его посмотреть строящуюся крепость. Работы продвигались туго — в промерзшей земле едва наметили линию стен и места башен да возвели несколько деревянных хозяйственных построек. Поговорили о войне, о ратных сборах. Петр посвятил Долгорукого в свои планы и пожаловался на трудности, связанные с определением расстояния при распланировке города и стрельбе из орудий. Все приходится мерять ногами или на глазок. Князь Яков Федорович посочувствовал и сказал, что был у него инструмент немецкий, которым можно узнавать расстояния, не сходя с места, не измеряя шагами, да, жаль, украли. Петр страшно заинтересовался:

— Какой он был, расскажи.

Долгорукий задумался:

— Ну, какой... Установлен на трех ножках, как на палках, наверху кружок стеклянный, а в кружке стрелка ходит... Подарили мне его, когда я в Голландию послом ездил. Да я и не пользовался им никогда, ни к чему он мне был...

Петр вцепился ему в руку:

— Князь Яков Федорович! Купи, купи мне такой инструмент, где найдешь. Будет мне гостинец — сделай милость!

Долгорукий обещался. Они вернулись во дворец. Князь отобедал и велел закладывать карету. Петр выбежал за ним на крыльцо:

— Смотри же, не забудь, князь Яков Федорович!

— Не забуду, Петр Алексеевич, будь покоен, — отвечал Долгорукий, кланяясь в последний раз ему и Наталье Кирилловне, наблюдавшей за ними из окна.

Через несколько дней войско выступило из Москвы. В Успенском соборе, в присутствии Софьи и обоих царей, был отслужен торжественный молебен. Патриарх Иоаким прочел поучение на евангельский стих: «Егда же услышите брани и нестроения, не убойтесь», окропил знамена и вручил Голицыну образ Спаса Нерукотворного, животворящий Крест Господень и образ Курской Божьей Матери. Государи, бояре и духовенство проводили воевод и полки до Казанского собора. При виде колышущегося леса копий, орудий, громыхавших по бревенчатой мостовой,



Петр снова почувствовал мучительную зависть. Ему хотелось бросить все и встать в одну из проходивших мимо шеренг.

Голицын назначил сбор войска на реке Мерло. Разбив в марте воинский стан на ее берегах, он целый месяц ждал, пока соберется неторопливое дворянское ополчение. Ленивее всех оказались костромичи — явились аж в начале мая. И все равно, несмотря на двухмесячную задержку в сборах, Голицын недосчитался в полках полторы тысячи служилых людей, пренебрегших приказом о выступлении в поход.

За торжественным обедом, данным Голицыным собравшимся воеводам, князь Василий Васильевич решил проверить умонастроения бояр и рискнул присоединить к здравнице за обоих царей имя Софьи. Воеводы недовольно зашумели. Голицын выпил один. Чтобы не выдать охватившего его волнения, пил долго, скрывая за большой чашей побледневшее лицо. Все зыбко, спокойствие обманчиво. Если в самой Москве недовольство только и ждет, чтобы прорваться наружу, то что же говорить об остальной России? Большая она, Россия, ох большая — в каждом городе стрелецкий полк не разместишь...

Чувствуя поддержку воевод и недовольство всего войска этим походом, нарышкинская партия осмелела. На следующий день был смотр всем полкам. Несколько сотен бояр и дворян, во главе с князем Борисом Долгоруким, явились на него в черных кафтанах, на лошадях, покрытых черными попонами. Зловещие всадники были встречены одобрительным гулом. Голицын не на шутку встревожился. Он написал о случившемся в Москву, требуя от Думы такого указа, чтобы злодеи задрожали: зачинщиков заключить в монастырь навечно, а их имения и поместья раздать другим служилым. Узнав, что против них готовятся грозные статьи, послушники пришли к Голицыну с повинной и слезным покаянием. Князь не стал раздувать дело, простил.

Наконец, войско двинулось на юг — мимо Полтавы, к Конским Водам. В Самаре к Голицыну присоединился гетман Самойлович с малороссийскими казаками.

В июне достигли урочища Большой Луг, около Днепра. Здесь остановились в недоумении: с юга ветер нес навстречу густые облака черного дыма. Лазутчики донесли, что татары подожгли степь.



Дальше 100-тысячное войско шло огромным четырехугольником — больше версты в длину и две в ширину; по обеим сторонам его прикрывали обозные телеги и артиллерия. Степь горела, воды нигде не было, ветер осыпал полки снопами искр, забивал пересохшие глотки людей и лошадей горькой золой. На третий день обильный дождь освежил воздух, наполнил водой пересохшее русло речки Карачакрак, прибил к земле разъедавшую глаза пыль. Однако корма лошадям достать было нельзя — выжженная степь кругом, насколько хватал глаз, была покрыта черными грудами золы.

До сих пор дозорные не видели ни одного татарина — только стада кабанов, спасавшихся от пожара. Войско роптало, отказываясь идти дальше, изнуренные лошади шатались на обессиленных ногах. Воеводы твердили об отступлении. Голицын был вынужден созвать военный совет. Генерал Патрик Гордон подал голос за продолжение похода. До Крыма всего двое суток безводного пути. Местность удобная — ни гор, ни лесов, ни болот, войско может идти строем. А в Крыму оно будет обеспечено всем необходимым. Воеводы, не дослушав, горячо запротестовали. Идти дальше нет сил. Вокруг одна пустыня, гарь. Люди валяются с ног, лошадидохнут от бескормицы. Нужно поворачивать назад, пока в обозе не кончились припасы. Голицын в нерешительности крутил на пальце золотой перстень. Если повернуть домой сейчас, он разделит вину за неудачный поход со всеми воеводами; если сутками позже — вся ответственность ляжет на него одного. Прервав спор, он объявил об отступлении и распустил совет.

Потащились назад по выжженной степи, теряя лошадей и людей. Когда, наконец, выбрались из пустыни на благодатную Украину, в шатер Голицына тайно явились генеральный есаул Иван Степанович Мазепа и казацкий старшина. Они подали князю пространный донос на гетмана Самойловича. Вот кто истинный виновник неудачного похода: всеми силами противился войне и союзу с Польшей, радовался отступлению; более того, им, есаулам и полковникам, стало известно, что не татары, а сам неверный гетман, подкупленный ханом, велел своим наемным сердюкам поджечь степь. Сейчас, пока он еще не покинул войско, самое время схватить его. Казакам он не люб, защищать его никто не будет.



Читая донос, Голицын поглядывал на спокойное умное лицо Мазепы, кусал ус. Вот она, подсказка, вот оправдание. Вовремя подставил плечо генеральный есаул. Подняв голову, он спросил казаков, доподлинно ли все так, как здесь написано. Они подтвердили: верно, так.

Привели связанного Самойловича. Голова его была обмотана мокрым платком — гетмана мучили головные боли и воспаление глаз. Но держался он с достоинством, все отрицал, клялся в верности московским государям. Полковники набросились на него, едва не убили. Голицын распорядился посадить его под крепкий караул.

Когда Самойловича увели, князь Василий Васильевич спросил старшину, кого казаки желают в гетманы. Ответ он знал заранее, его и услышал. Мазепу Голицын знал давно. Лет пятнадцать назад Иван Степанович, покинувший Варшаву из-за какой-то темной любовной истории, поступил на службу к Чигиринскому гетману Дорошенко, враждебному Москве. Посланный гетманом с письмом в Стамбул, он был перехвачен в пути кошевым атаманом Серко и приведен к Самойловичу. Мазепа не стал запирается, раскрыл все связи Дорошенко с султаном и перешел на службу Москве.

Мать Мазепы считали чародейкой. Похоже, и он унаследовал способности к чародейству, ибо так обворожил Самойловича, что тот приблизил его к себе, поручил ему воспитание своих детей и произвел в генеральные есаулы. С тех пор Иван Степанович ежегодно ездил в Москву с отчетом о казацких делах. Голицыну Мазепа нравился: происходит из знатного шляхетского рода, одного из самых древних в Малороссии и заслуженных в Войске Запорожском, и главное, воспитан, образован, не то что этот неотесанный мужик Самойлович, поповский сын. В молодости Иван Степанович ездил получать образование куда-то за границу на казенный счет и преуспел в науках, приобретя изрядную по тем временам ученость. Он знал латынь, был обходителен, ласков. Беседовать с ним было интересно и приятно.

На следующий день после ареста Самойловича собрался казачий круг. Казаки единогласно выкрикнули Мазепу в гетманы. Голицын сам вручил ему булаву, бунчук и знамя. Вечером шестеро казаков втащили в голицынский шатер три тяжелых сундука — подарок от нового гетмана: 5 000 рублей в червонных золотых, 3 000 в копейках и 2 000 в талерах битых немецких.



В Москву поскакал гонец с известием о том, что хан не решился дать сражение доблестному московскому войску, и об измене Самойловича. За Орелью войско встретил начальник Стрелецкого приказа думный дьяк Федор Леонтьевич Шакловитый с милостивым словом Софьи к воеводам за сохранение армии. С собой он привез щедрые подарки царевны. Голицын получил золотую медаль, осыпанную драгоценными камнями, на золотой цепи, другие воеводы — соразмерно чину и заслугам. Последний рейтар был пожалован ста двадцатью четвертями земли и деньгами. В грамоте, обращенной к народу, Софья известила о великом страхе крымского хана, ужасном и славном походе среди выжженных степей и об избрании верного гетмана Ивана Степановича Мазепы.

В Преображенском над Голицыным смеялись. Симон Зоммер, разложив перед Петром географическую карту, авторитетно разъяснял причину постигшей князя неудачи: он и его воеводы не навели нужных справок о местности, не приняли должных мер, не умели повести дела. Вот что бывает, когда пренебрегают советами опытных европейских офицеров — генерала Гордона и других. А офицеры из полков иноземного строя сетовали: дворянское ополчение — разве это войско? Людей на службу нагонят множество, а если посмотреть на них внимательным оком, то, кроме зазору, ничего не узришь. У пехоты ружья плохие, а владеть ими и вовсе не умеют, в сражении только боронятся ручным боем, копьями и бердыщами, и то тупыми, и меняют свои головы на неприятельские по три, по четыре, а то и больше. А если на конницу посмотреть, то не только иностранцам, но и самим русским на нее смотреть зазорно: клячи худые, сабли тупые, сами скудны и безодежны, ружьем владеть никаким неумелые; иной дворянин и зарядить пищаля не умеет, а не то что ему стрелять по цели хорошенько. Попечения о том не имеют, чтобы неприятеля убить, о том лишь пекутся, как бы домой быть, и о том еще молятся Богу, чтоб рану нажать легкую — так, чтоб и не гораздо от нее поболеть, и от государя пожалованному за нее быть. Оттого на службе только и смотрят, как бы где во время бою за кустом притулиться. А то еще промеж дворян такие разговоры бывают: дай Бог великому государю служить, а сабли из ножен не вынимать. Пора, давно пора великим государям завести регулярное войско.

Петр слушал и мотал все это на ус, который начал у него пробиваться над верхней губой, — как-то по-кошачьи, в стороны.



В отсутствие Голицына всеми делами в Думе распоряжался Шакловитый. Ежедневно встречаясь с ним, Софья прониклась еще большим доверием к расторопному думному дьяку, который и раньше уже успел доказать ей свою преданность.

Федор Леонтьевич был родом из Брянска. Его отец, простой подьячий, свой случай упустил. Однажды вызвали его в Москву, в Разрядный приказ, как это часто делалось из-за нехватки в приказах грамотных людей. Шакловитый-старший поехал, полный радужных надежд, но в Москве быстро выяснили, что брянский подьячий грамоте не разумеет, и отослали обратно, сделав выговор воеводе.

Грамотный сын оказался счастливее отца. Посланный брянским воеводой в тот же Разрядный приказ с казной, Федор Леонтьевич назад не вернулся, остался в приказе подьячим. В конце царствования Алексея Михайловича его за толковость определили в Тайный приказ, ведавший государевыми делами и сыском. Мзды здесь брать было нельзя, зато оклад был значительно выше, чем в других приказах, а главное, должность в Тайном приказе означала огромную, почти бесконтрольную власть. Шакловитый с удовольствием обрядился в выдаваемое царским приказным особое казенное платье, которое внушало страх самым именитым боярам: соболью шапку, черный кафтан, длинную темную ферязь с частыми серебряными пуговицами и желтые сафьяновые сапоги. При Федоре Алексеевиче он был произведен в думные дьяки. Позже, когда Софье понадобилось выманить князя Хованского из Москвы в Троицу, Шакловитый помог ей сделать это. Он же зачитал князю Тарарую смертный приговор. Заняв его место в Стрелецком приказе, быстро утихомирил стрельцов, обескураженных казнью любимого начальника. Потом перебрал людишек в оставленных в Москве стрелецких полках. За эти услуги был пожалован Софьей в ближние окольничие при царе Иване и назначен наместником Вяземским.

В Думе Шакловитого ненавидели и боялись. Федор Леонтьевич теперь возглавлял государственный сыск и через подкупленных или запуганных холопей имел глаза и уши в каждом боярском доме. Родовитость и знатность он не ставил ни во что; его собственное возвышение казалось ему естественным и справедливым вознаграждением за ум, талант и заслуги. Правитель-



ство Софьи и Голицына давало дорогу таким людям, как он, и Шакловитый готов был перегрызть глотку любому, кто вздумал бы вернуться к старым временам и обычаям.

Шакловитый внушал Софье двойственные чувства. Она не сомневалась в том, что думный дяк пойдет на все, чтобы и в дальнейшем обеспечить за ней власть, но в то же время именно эта его жестокая решимость не считаться ни с кем и ни с чем внушала ей смутную тревогу. Он представлялся ей великолепным охотничьим псом с мертвой хваткой, который, однако, неохотно разжимает челюсти и, пожалуй, может укусить хозяина, протянувшего руку за добычей.

После возвращения Голицына в Москву Софья вызвала Шакловитого к себе. В ее покоях Федор Леонтьевич застал и князя Василия Васильевича, который сидел в глубине комнаты в своем атласном золотом кафтане.

Голицын заговорил несколько смущенно. Пятилетнее правление царевны Софьи Алексеевны вознесло Российскую державу на невиданную высоту. Последние события — он имеет в виду заключение вечного мира с Польшей и победоносный поход в Крым — добавили к мирным благам внутреннего процветания необходимый ореол внешней славы и могущества. Словом, будет справедливо, если столь мудрая и добродетельная правительница примет титул самодержицы и венчается на царство, как ее малолетние братья. Однако во избежание пересудов хорошо бы сделать так, чтобы это желание было высказано снизу, выборными людьми всяких чинов.

— Вот ты, Федор Леонтьевич, и проведай у стрельцов, как они примут это дело, — заключил Голицын.

— Отчего ж не проведать, проведая, — сказал Шакловитый и перевел взгляд на Софью, которая стояла у окна, сложив руки на груди: — Только, государыня, кем бы тебе ни быть, а царицу Наталью лучше извести.

Софья вздрогнула и отвернулась. Не в первый раз Шакловитый откровенно пытается ее насчет Преображенской медведицы. Трудно, ох трудно удержаться от соблазна. Да, этот — не Васенька, колебаться не станет. Ему ведь и слов не нужно — прочтет по глазам... Но это — на крайний случай, на самый крайний...

На другой день Шакловитый собрал в своем загородном доме под Девичьим монастырем человек тридцать стрелецких



сотников, пятисотников и полковников. Напомнил им, какими милостями осыпала их царевна Софья Алексеевна, и предложил подать челобитную, чтобы ей венчаться царским венцом. Стрелецкие начальные задумались: пожалуй, они и не против, но знают ли о том государи и бояре?

— Государь Иоанн Алексеевич знает, — сказал Шакловитый, — а другой еще мал, его слушать нечего. Стоит захватить Льва Нарышкина и князя Бориса Голицына, и он согласится.

— А патриарх?

— Патриарха и переменить можно. Возьмем хоть простого монаха, на нашу руку, тот же патриарх будет. Бояр же опасаться нечего: все они зяблое дерево, кроме князя Василия Васильевича Голицына, а он за государыню царевну постоит. Попробуйте же товарищей, какая от них отповедь будет.

Начальные разошлись по полкам. Однако стрельцы заволновались. Пять лет назад все было понятно: их повели вступить за царя против изменников-бояр, — а сейчас? Прямо велят бунтовать — видано ли? И зачем, — чтобы достичь странного, небывалого дела — царевну венчать царским венцом! Полковые круги бурлили, полковников и сотников начали поругивать, обвиняя в измене. Назревал новый мятеж.

Чтобы успокоить стрельцов, Софья позвала к себе выборных людей от полков. Угостив вином, сказала, что до нее дошли слухи, будто затевается какая-то челобитная, чтобы ей венчаться на царство. Так вот, ей это непотребно, она не хочет гневить и бесчестить братьев своих, великих государей. Видит бог, заботы о государстве — слишком тяжкий груз для женских плеч, и только сознание долга перед братьями поддерживает ее в непосильных трудах. Впрочем, если она больше не любя стрельцам и народу московскому, она готова сейчас же оставить правление и уйти в монастырь...

— Люба, любя! — прервали ее крики стрельцов.

Что ж, если так, пускай они помогут ей. Возможно, вскоре ей снова понадобится их верность. Боярская измена вновь пустила корни во дворце. Ей стало известно, что старая царица с братьями и князем Борисом Голицыным затевают новый бунт. И патриарх с ними заодно: ему бы уговаривать и мирить, а он только мутит...



Шакловитый, стоявший перед стрельцами с булавой начальника Стрелецкого приказа, обернулся к ним:

— А что бы вам, ребята, князя Бориса Голицына и Льва Нарышкина на копыя не принять? Можно бы принять и старую царицу. Что она за государыня? Всем вам известно, каков ее род и какова она в Смоленске была: в лаптях ходила...

— Жаль мне их, — поспешила вставить Софья, — и без того их Бог убил.

Стрельцы постояли в крепком раздумье, помяли шапки.

— Воля твоя, государыня, что хочешь, то и делай.



Царевна Софья Алексеевна. С гравюры Блотелинга, 1687 год

Однако Софья пребывала в нерешительности. С одной стороны, грохот барабанов из Преображенского в последнее время что-то стал сильно досаждать ей. И с венчанием дело как-то чересчур затянулось. Голицын ручался, что второй поход в Крым заставит всех боготворить ее имя, стрельцы сами поднесут ей царский венец. Нужно только как следует подготовиться к новой



войне. Софья и сама видела, что стрельцы как-то скисли, новая междоусобица может обернуться против нее самой. Что ж, она подождет, время, слава богу, еще есть.

А царица Прасковья Федоровна между тем вновь родила девочку...

Весной из Парижа возвратилось посольство князя Долгорукого. Христианнейший король Людовик XIV пожелал московским государям успехов в борьбе с неверными, но чем-либо помочь им в этом вежливо отказался. Король-солнце вел очередную войну против императора и германских князей и был бы только рад, если бы турки почаще наведывались под стены Вены.

В один из майских дней Долгорукий приехал в Преображенское. Петр находился в Пресбурге — помогал устанавливать пушку на стену. За год крепость приобрела более солидный вид: поднялись башни, возведены стены, насыпаны валы, через которые были перекинута подъемные мосты... Однако конца работам не было видно. По расчетам Зоммера выходило — не раньше будущего года.

Увидев вылезающего из кареты Долгорукого, Петр опрометью побежал ко дворцу.

— Ну что, князь Яков Федорович, привез мне гостинец? — крикнул он, подбегая к карете.

Долгорукий повернулся к нему, отдал поклон:

— Как не привезти, коли ты приказал.

— Где ж он, доставай скорее, посмотрим!

Слуги вытащили из кареты большой ящик, завернутый в холстину и перехваченный веревками. По приказанию Петра ящик тут же стали распаковывать. Из дворца в это время вышли Зотов, Лев Нарышкин, князь Борис Голицын, поздоровались с Долгоруким, встали рядом посмотреть на заморскую штуку. Петр, не в силах больше ждать, вынул из кармана нож и стал помогать слугам, разрезая веревки и вспарывая холст.

Наконец открыли крышку ящика. Петр жадно схватил в руки инструмент. Вот он! Или оно? Как это вообще называется? Отчего стрелка бежит? На что указывает? Что обозначают эти буквы и числа, в три ряда окружающие стрелку?



Он повернул инструмент так и этак, потряс.

— Князь Яков Федорович, как же мерять?

Долгорукий надул щеки, шумно выдохнул:

— Э... Ты велел купить, ну вот я и купил, а как прилаживать инструмент, почем мне знать? Штука мудреная...

— Никита Моисеевич! Лев Кириллович! Князь Борис Алексеевич!

Они подошли, потрогали и отошли прочь. Прав князь Яков Федорович — вещь хитрая, немецкая, пусть государь у немцев и спрашивает.

Петр злился. Что за народ! Ничего не добьешься. Дурачье, бестолочи! Он позвал Зоммера. К его удивлению, бранденбуржец тоже спасовал. Но хоть сказал, как называется инструмент, и на том спасибо. Оказывается — астролябией.

Вконец расстроенный, Петр сердито сопел. Зоммер попытался утешить его. Молодой царь не знает, как быть? К счастью, совсем рядом с Преображенским находится Немецкая слобода. Если царь прикажет, он может найти там знающего человека.

— Сделай милость, поищи, — буркнул Петр.

Наутро Зоммер привел в Пресбург какого-то человека, круглощекого и такого же короткононого, как и сам. Представил его Францем Тиммерманом, инженером. Вообще-то он купец, тут же добавил на довольно чистом русском языке инженер, по-видимому, словоохотливый, раньше жил в Амстердаме, но лет десять назад, во время несчастной войны Голландских Штатов с Англией, он потерял свое состояние. С тех пор живет в Немецкой слободе, на службе у московских государей. Для отца Петра Алексеевича он имел счастье строить... — Хорошо, прервал его Петр, за Богом и царем служба не пропадет. У него как раз случилось небольшое затруднение с пользованием астролябией (он быстро взглянул на Зоммера, который утвердительно кивнул), не может ли господин Тиммерман подсказать, в чем тут дело. Петр указал на прибор, стоявший на земле в собранном виде, на ножках.

Тиммерман неторопливо осмотрел астролябию. Да, инструмент в полном порядке, можно им пользоваться. У Петра сверкнули глаза. Как же? — А вот как... Тиммерман указал рукой на высокую липу, растущую на берегу в отдалении. Сейчас он, не сходя с места, определит, сколько до нее сажен.



Он навел на дерево астролябию, сделал выкладку, назвал цифру. Петр сам проверил шагами — верно! Вернулся обратно бегом. Он должен непременно научиться, как это делается, прямо сейчас! Тиммерман улыбнулся. В этом действительно нет ничего сложного, и если его величество знаком с арифметикой и геометрией, он готов объяснить ему принцип действия этого прибора.

— Идем, — потянул его за рукав Петр. — Научишь меня всему, что знаешь.

Тиммерман стал ежедневно приходить в Преображенское. Петр внимательно выслушал от него четыре правила арифметики: аддиции, субстракции, мультипликации и дивизии, старательно записал их в тетрадь, пояснил примерами. Быстро перешел к дробям. Однажды уверенно поправил смущенного Тиммермана, допустившего ошибку в задачке на аддицию.

Наталья Кирилловна была в восторге оттого, что сын снова засел за учение. Однако к ее радости примешивалось беспокойство. Чему там учит Петрушу коротышка немец? Как-то, завладев исписанной тетрадью Петра, открыла ее наугад, прочитала: «Минуты вынимаюся так (въ радусе 60 мину) і буде минуты которыя Соце покаже боше декълинациевы мину і і вынима прото (сусъстракыциею) а буде декълинациевы минуты боше і тогъда заня одинъ граду і прибави ктѣм минуто которыя сонце покаже и вынимать таж (супъстракыциею)...» Что за белиберда?

Она позвала Зотова, в недоумении подала ему тетрадь. Зотов помялся, кряхтя. Вообще-то он еллинских борзостей не текох...

— Неужто ересь? — ужаснулась царица.

— Не думаю, — сказал Зотов, захлопнув тетрадь, — тут что-то про солнце: наверное, гадают немец Петру Алексеичу по звездам...

Наталья Кирилловна успокоилась, но тетрадочку прибегрела — показать при случае патриарху, чистое ли дело.

Месяца через два, в июле, Петр гулял вместе с Тиммерманом по Измайловской усадьбе. Был жаркий полдень, белые облака плыли в синем небе, горячий ветер доносил с полей аромат хлебов и трав. Усадьба и хозяйственные постройки стояли в запустении, зарастая кустами белены, огромными лопухами и высокой крапивой. Старый ключник, сопровождавший Петра, по его требованию отпирал один за другим сараи и амбары, но в них не было ничего интересного — какие-то ящики, тюки, телеги, конская упряжь, сгнившее сено...



На Льянном дворе, поросшем кудрявой муравой, Петр указал рукой на древний покосившийся амбар:

— Что там?

Ключник, уставший бесцельно бродить по усадьбе, вяло ответил, что в амбаре свален всякий хлам, оставшийся после боярина Никиты Ивановича Романова, двоюродного брата царя Михаила Федоровича. Помолчав, нехотя, по долгу службы прибавил, что боярин, как говорят, был большой любитель всяких заморских диковин.

— Так пойдем посмотрим, — оживился Петр.

С трудом отперев большой проржавевший замок, ключник заскрипел тяжелыми дверями амбара. Из-под застрех, с сухим вспорхом крыльев, посыпались перепуганные воробьи, где-то в земле, под стеной, угрожающе загудели осы. Петр оглядел полутемное нутро амбара. В дальнем углу ему бросилась в глаза не то барка, не то лодка, опрокинутая вверх дном. Он подошел, осмотрел посудину со всех сторон, похлопал по днищу:

— Тиммерман, что это такое, а? На наши суда не похоже...

Голландец присмотрелся, прищурившись:

— Кажется, английский бот.

— Куда годен? Лучше наших судов?

— Несравненно, государь. Сей бот ходит на парусах не только по ветру, но и против.

— Как «против»? Да может ли это быть?

— Точно так, Петр Алексеевич. Для морских судов это обычное дело.

— Ну так поплывем!

Тиммерман отрицательно покачал головой. Нельзя, бот нуждается в хорошей починке. Прежде надо поставить мачту, приладить паруса, неплохо было бы проконопатить дно... Петр приуныл. Кому же поручить такую работу?

Корабельных мастеров в Москве нет... — Не беда, возразил Тиммерман, у него в Немецкой слободе есть старый знакомый Карштен Брандт, бывший корабельщик, ныне промышляет столярным ремеслом. Если государь прикажет, он приведет его.

— Конечно! — воскликнул Петр. — Завтра же и приводи.

Карштен Брандт оказался подвижным румяным старичком, с небольшой белой бородой вдоль всей нижней челюсти и с бритыми щеками и верхней губой. Он рассказал, что приехал в Россию из Голландии вместе с двумя десятками других



корабельных мастеров, нанятых царем Алексеем Михайловичем для постройки первого русского корабля «Орел». Хорошее дело задумал покойный батюшка молодого царя — торговать на Каспии. Но, удивлялся Брандт, Россия — странная страна: чего нихватишься, ничего нет. Канатов нет, парусины нет, гвоздей нет, плотников нет. В общем, тянулось дело восемь лет, а кончилось в один день: когда, наконец, готовый корабль спустили по Волге к Астрахани, его там сожгли разинские воры. «Столько напрасных трудов, потерянного времени!» — сокрушался Брандт. Ему доставило немалое удовольствие видеть, как колесовали этого дикого разбойника, который разом испепелил восемь лет его, Брандтовой, жизни. С тех пор за услугами к голландским корабелям больше не обращались, но и домой не отпускали. Пришлось столярничать... Что ж, ремесло, изученное должным образом, нигде не даст умереть с голоду.

Петр участливо пожал руку старому мастеру. Он немедленно отпустит его назад, в Голландию, только пусть сослужит последнюю службу — починит английский бот. Брандт вздохнул. В Голландию ему возвращаться поздно, да и незачем, — здесь у него дом, семья, дети... А бот починить он готов. Ремесло, изученное должным образом, не забывается. Однако как сейчас обстоят дела в России с канатами, парусиной и гвоздями? Он уже стар и не может ждать их еще восемь лет. Петр рассмеялся. Будет, все будет!

Не прошло и недели, как Брандт, подправив и оснастив бот, спустил его на Яузу. День был солнечный, ветреный, по воде и берегу бежали тени облаков. Распустив парус, Брандт спустился вниз по реке, ловко развернувшись, пошел вверх, снова умело сманеврировал, поплыл обратно... Петр наблюдал за ним с берега. Солнечные блики на воде до боли слепили глаза; внутри у него все кипело. Он закричал Брандту, чтобы тот причаливал. Когда бот подошел близко к берегу, Петр вскочил в него и потребовал от Брандта тотчас научить его плавать против ветра. Старик поставил его рядом с собой, стал показывать, как управлять подвижной мачтой. Петр довольно сносно повел бот по реке, но при развороте уткнулся носом в берег. Попробовал еще раз — вновь неудача. Да что такое!.. Брандт подбодрил его. Ничего, умение придет со временем. Хотя, сказать по правде, вода здесь в самом деле чересчур узка, даже ему разворот дается с трудом.



Перетащили бот в Просяной пруд. Здесь учение пошло лучше. Петр освоил повороты, но пруд ему быстро наскучил: никакого простора — плаваешь как муха в кружке.

Он попытал Брандта, нет ли где рядом воды пошире. Старик не знал. Возвратившись в Пресбург, Петр спросил о том же у Тиммермана, Зоммера, Зотова, но и они ничего не могли сказать. Выручил кто-то из потешных, заявив, что знает большую водную гладь — Плещеево озеро, верст сто с лишком будет за Троицей-Сергием, под Переславлем. Озеро большое, глазом не окинешь...

Весь оставшийся день Петр ломал голову, как бы побывать в тех местах. Ехать просто так не в обычае — мать не отпустит. Он хмурился, покусывал губу. Ночью, в кровати, его осенило. Так ведь скоро восемнадцатое — день обретения мощей преподобного Сергия! Вот удобный повод отпроситься в Троицу, а там уж он найдет способ добраться до Переславля...

Наталья Кирилловна с радостью согласилась отпустить сына на богомолье. Царскую карету сопровождала рота преображенцев. Брандт сидел в карете вместе с Петром.

В Троицком храме Петр был рассеян. Молитва не шла на ум. Едва дождавшись окончания службы, он приложился к раке и опрометью выбежал из церкви. У ворот лавры его уже ждала телега, нанятая Брандтом. Вдвоем покатали к озеру. Осмотрев, нашли его весьма удобным для корабельного дела.

Вернувшись в Преображенское, Петр бросился упрашивать мать отпустить его пожить в Переславле. Наталья Кирилловна сперва только удивилась. В Переславль? Зачем? Но, услышав, что он собирается строить там корабли, разволновалась не на шутку. Святая Богородица, он утонет! Строить корабли — что за блажь! На что они ему? Верно, немцы надоумили неразумное дитя... Нет, ни за что! Она изведется тут от страха за него... Петр побежал к ней, обнял, зацеловал. Пусть матушка отпустит его, ну пожалуйста, иначе он умрет от тоски. Ничего плохого с ним не случится, ведь он не сможет плавать по озеру, пока не готовы корабли, а строят их на берегу, на суше... Его умоляющие глаза были неотразимы. Наталья Кирилловна, прослезившись, дала добро на поездку.

На этот раз вместе с Петром и Брандтом поехали товарищ Брандта, Корт — другой строитель «Орла», и дворцовые плотники. Кроме того, пришлось согласиться на присутствие целой



оравы стольников и спальников, которым Наталья Кирилловна наказала беречь царя пуше глаза. Расставаясь с сыном, царица надела ему на шею образок и заклинала всеми святыми почаше слать ей с проклятого озера грамотки в утешение.

Новое увлечение Петра осталось без внимания со стороны Софьи. Пусть прешпурхский царь балуется, думала она, пусть колобродит, авось уходит себя.

Царевна была поглощена другими событиями. В Православной церкви внезапно разгорелся спор о времени пресуществления святых даров. Зачинщиками его были греческие монахи братья Лихуды, приглашенные преподавать в Славяно-Греко-Латинскую академию. Под влиянием киевских монахов и переведенных католических книг на Руси распространилось мнение, что на литургии чудо пресуществления совершается после того, как священник зачитывает слова Христа, с которыми Он раздал ученикам хлеб и вино во время Тайной вечери. Но Лихуды противопоставили этому мнению традицию греческой церкви. Согласно ей пресуществление происходит в конце молитвы о ниспослании Святого Духа на Святые Дары. Авторитет греческой церкви был чрезвычайно силен среди русских иерархов. Патриарх Иоаким поддержал и одобрил братьев Лихуд. Здесь он впал в ту же ошибку, что и патриарх Никон, принявший новогреческие обряды, возникшие в Константинопольской церкви в XIV веке, за истинное, «неиспорченное» православие.

Чисто церковный спор взволновал, однако, и массу мирян. Раны, нанесенные расколом русскому обществу, еще кровоточили. Не только старообрядцы, но и многие православные увидели в попытке патриарха Иоакима заменить старорусский обычай новогреческим повторение событий тридцатилетней давности. Князь Голицын открыто заявлял, что дивится патриаршей дурости. Хотя сам вопрос представлялся ему несущественным, но он опасался возникновения внутренних неурядиц накануне нового похода против татар. Впрочем, ни он, ни Софья не желали раздражать патриарха и готовы были подчиниться его решению. Однако, против их воли, дело дошло до жестокой ссоры, виновниками которой стали Шакловитый и справщик Печатного двора Сильвестр Медведев.



Медведев был земляком и другом Федора Леонтьевича; вместе с ним служил когда-то подьячим в Тайном приказе. Позже, приняв постриг, он сблизился с Симеоном Полоцким. Воспитателю царских детей понравился образованный, начитанный монах, и он взял его к себе в Заиконоспасский монастырь. Здесь Медведев познакомился с Федором Алексеевичем, бывшим тогда еще царевичем; впоследствии став царем, Федор собственноручно переписывался с ним. Со смертью Симеона Полоцкого отец Сильвестр занял его место возле Софьи в качестве духовного учителя и собеседника. Особое расположение и доверие царевны он заслужил после того, как преподнес ей сочиненное им похвальное слово ее правлению, где, помимо прочего, полностью отрицал какое-либо ее участие в стрелецком мятеже и убийствах бояр. Обремененный изрядной польско-греко-латинской ученостью, Медведев презирал патриарха Иоакима, который не мог похвастаться большой образованностью. Мысленно отец Сильвестр примеривал на себя патриарший куколь. Разговоры, которые вела с ним Софья о своем венчании с Голицыным, подогревали эту надежду.

Теперь Медведев, конечно, не захотел упустить случай посрамить патриарха на богословской ниве. Он выступил в защиту устоявшегося мнения, против братьев Лихуд и Иоакима. Стороны обменялись несколькими бранчливыми и грубыми памфлетами. Спор достиг такой остроты, что для его разрешения потребовался авторитетный посредник. Было решено обратиться к киевским ученым старцам. Из Москвы к гетману Мазепе отправили несколько возов богословских книг с просьбой передать их в Киево-Печерскую лавру для проверки и справки.

Киевские монахи подтвердили правоту Медведева. Между тем разгневанный патриарх, не дожидаясь ответа из лавры, отставил его от должности справщика и предал анафеме. Но тут за друга вступился Шакловитый. Он приставил к патриаршей келье стражу и держал Иоакима под арестом до тех пор, пока тот не снял с Медведева отлучения. Патриарх потребовал от Софьи наказания обидчика, но получил отказ.

Такое окончание спора принесло Медведеву огромную славу в стрелецких слободах, где жило множество раскольников и сочувствовавших расколу. В келью к многоначитанному мужу ежедневно стекались толпы стрельцов за советом и поучением. Часто туда приходил и Шакловитый, подговаривал стрельцов



скинуть патриарха. Отец Сильвестр не одобрял открытого бунта, но охотно подтверждал, что патриарх — человек неученый и богословских речей не знает, славил добродетели и мудрость Софьи и чернил ее противников.

Шакловитый, напротив, действовал открыто и нагло. Чего считаться с патриархом, этой б... бородой? Давно пора посадить на его место отца Сильвестра. Дьяк всеми силами старался раздуть былую вражду стрельцов к Нарышкиным. У него был знакомец, Матвей Шошин, подьячий приказа Большой казны, сильно похожий на Льва Нарышкина. По его приказу Шошин, переодевшись в белый тафтяной кафтан, однажды ночью подъехал вместе с двумя стрелецкими капитанами к караульной избе за Земляным валом. Капитаны зашли в избу и сказали караульным, что их вызывает Лев Кириллович Нарышкин. Когда они вышли, капитаны спросили у них, который час ночи, а потом набросились и стали бить плетью и обухами. Стрельцы взмолились о пощаде. Капитаны стали просить: «Сжался, Лев Кириллович, хватит с них и того». Но Шошин отвечал: «Бейте их гораздо, скоро и с другими поквитаяюсь за смерть братьев своих». Утром избитые стрельцы пришли в Стрелецкий приказ, где Шакловитый записал их жалобы и отправил лечиться на казенный счет.

Однако в стрелецких слободах это происшествие прошло незамеченным. Не расшевелили стрельцов и слухи о том, что приверженцы Нарышкиных во дворце неуважительно относятся к царю Ивану: завалили, дескать, дверь в царскую опочивальню поленьями. Стрельцы пожимали плечами. Подумаешь — дверь завалили! Прежде говорили, что его и вовсе задушили, а что вышло? Не трогало их и необычное поведение второго царя — не их дело указывать царскому величеству, как время проводить. Шакловитый сумел набербовать себе только пятерых приверженцев: урядников Обросима Петрова, Алексея Стрижова, Андрея Кондратьева и двух пятидесятников — Кузьму Черного и Никиту Гладкого.

Между тем в келье у Медведева появился волхв — поляк Митька Силин. Медведев ворожбу любил, сам гадал по звездам и предсказывал будущее. Основным делом Митьки было лечить своим искусством болезненные очи царя Ивана Алексеевича. Однако Медведев выведал у него, что, кроме того, умеет Митька, глядя на солнце, угадывать по нему, что кому будет, заговаривать грыжу, пособлять жене и мужу и лечить от животной болезни.



Способности волхва заинтересовали отца Сильвестра. Он открыл Митьке, что царевна Софья хочет замуж за князя Голицына, Шакловитый — стать первым боярином, а сам он — патриархом, и велел посмотреть на солнце — сбудется ли так. Митька дважды влезал на Ивановскую колокольню, пылился на солнце, истекая слезами. Вернувшись, сообщил Медведеву, что у обоих государей венцы на главах; у князя Голицына венец мотался на груди и по спине, а сам он стоял темен и ходил колесом; царевна была печальна и смутна, Медведев темен, Шакловитый повесил голову.

Медведев рассердился на него. Что он бредит? Разве это гадание — один обман. По звездам гадать могут только люди мудрые и ученые. Пускай волхв занимается врачеванием, а предсказания оставит.

В ту пору как раз занемог князь Голицын. Appetit пропал, и на душе сделалось как-то смутно и тяжело. Медведев отправил Силина к нему — щупать живот. Митька помял князя костлявыми пальцами и нашел, что он здоров, а болезнь у него только одна — любит князь Василий Васильевич чужбину, а жены своей не любит.

Удобное место для верфи — напротив церкви Знамения — Брандт и Корт сыскали быстро. Лето минуло в хлопотах: заготавливали лес, пилили бревна, доски, вбивали и укрепляли сваи, запасались гвоздями, скобками, парусиной, веревками, смолой, пенькой. Собрав материал, заложили сразу три судна: два фрегата и шхуну.

Петру полюбились вольное житье, о Преображенском он и думать забыл. Но с приближением осени оттуда пришло два письма: одно от Натальи Кирилловны, которая звала сына приехать ко ее дню ангела; другое от Зоммера, сообщившего об окончании строительства Пресбурга. Фортеция отстроена на славу, писал бренденбуржец, надо брать приступом!

Письмо Зоммера всколыхнуло в душе Петра подзабытую страсть к сухопутным потехам. Сердце его разрывалось между Пресбургом и верфью — хотелось и тут поспеть, и туда не опоздать. В конце концов Пресбург перетянул — там было все готово, а у кораблей только-только обозначился остов: их огромные ребра белели на берегу, словно обглоданные туши неизвестных



чудовищ. Петр уехал, взяв с мастеров слово, что к весне суда непременно будут спущены на воду.

Подъезжая к Преображенскому, Петр издалека завидел трехъярусную восьмигранную деревянную башню с главными воротами Пресбурга, обращенными ко дворцу. Немного погодя он смог разглядеть жерла орудий, торчавшие из бойниц, караулы на стенах. Теперь он не жалел, что покинул верфь. Славный город Прешпурх! Его стольный град Прешпурх!

Петр назначил штурм на другой день после именин матери. В Пресбурге засели стрельцы Сухарева полка, штурмовали город Преображенский и недавно созданный Семеновский гвардейские полки. Взяли крепость приступом так храбро и радостно, что и не описать. Когда на главной башне взвились знамена Преображенского и Семеновского полков, Петр во главе отряда барабанщиков и флейтистов вступил в город. Зоммер торжественно вручил ему ключи от крепости.

В честь столь достопамятного события Петр благословил воинство водочкой. Из царских рук вино вдвойне хмельно. Прикатили несколько бочонков и раздали их в роты. Офицеров Петр угощал лично. Русские не знали, как благодарить за честь, — выпив, многожды кланялись в землю и отходили, пятясь задом. Немцы были смелее: опорожнив стакан, протягивали руку за вторым, третьим... Затем появилось чье-то предложение отметить победу славной вечеринкой, и было, конечно, встречено шумным одобрением. А чтобы не вызвать на голову молодого царя нареканий от матери, царицы Натальи Кирилловны, решили поехать веселиться в Кукуй.

Несмотря на то, что Кукуй раскинулся по обоим берегам Яузы, в какой-нибудь версте от Преображенского, Петр еще ни разу не бывал здесь. Вообще эта поездка была неслыханным скандалом. Для русских людей Кукуй был поганым местом обитания еретиков, что нашло отражение в самом его презрительном названии. Нога православных царей никогда не ступала сюда. Но у Петра любопытство, как всегда, взяло верх над силой традиций. Выросший на окраине Москвы загадочный иноземный городок поразил его новизной впечатлений. Перед ним проплывали просторные чистые улицы со свободно расхаживающими по ним людьми, фигурные решетки садов, островерхие колокольни церквей, уютные, но вместе с тем прочные и основательные двух- и трехэтажные домики с красными черепичными



кровлями, блестящие на солнце светлыми оконницами с ярко промытыми стеклами, за которыми виднелись опрятные, выглаженные занавески и горшки с цветущими геранями; в палисадниках перед домами гиацинты, левкой, нарциссы отцветали на оголенных черных грядках, между тем как тюльпаны — черно-лиловые, рдяные, золотистые — все еще устилали землю бархатным ковром. В планировке улиц и строений не было никакой хаотичности, и то, что издалика казалось беспорядочным скоплением построек, спрятавшихся в зеленой гуще деревьев, представляло вблизи тщательно продуманным и организованным: кварталы образовывали четкие четырехугольники, вязы, липы, дубы выстраивались вдоль улиц, а садовые деревья ровными шеренгами окружали дома и небольшие прямоугольные пруды.

Обстановка, в которой происходила вечеринка, тоже была необычной для Петра, привыкшего к степенным и чинным московским пирам. Компания расположилась в светлой гостиной с большими квадратными окнами и узорным каменным полом (это мог быть дом Зоммера или любого другого из немецких офицеров), где стояли широкий и длинный дубовый стол, массивный буфет, клавикорды, кресла с замысловатой обивкой, золоченые стулья — из тех, что дюжинами продавались в Овощном ряду по рублю за штуку, — и резные лавки. Жена хозяина дома быстро расставила на столе бутылки вина, блюда с ветчиной, хлебом, сыром, фруктами и разложила между ними глиняные и пенковые трубки самой разнообразной длины и формы, рядом с которыми поместила раскрытые кожаные кисеты с крупно нарубленным пахучим табаком. Несколько стаканов венгерского помогли высокому гостю почувствовать себя непринужденнее.

А гостиная между тем наполнялась людьми — мужчинами и женщинами, стариками и молодежью, военными и штатскими. И вот уже кто-то сел за клавикорды, зазвучала музыка, и пары усердно застучали каблуками по узорному каменному полу. Всё больше хмелея, Петр дивился тому, как незаметно в комнате появлялись незнакомые лица, с какой раскованностью вновь прибывшие включались в общее веселье. Казалось, хозяину и гостям нет никакого дела друг до друга; каждый развлекался, как хотел, не обращая внимания на то, чем занимаются другие. Отцы семейств, дымя трубками, сидели за шахматами или чинной беседой, их жены примостились вдоль стен с вязаньем в руках; бойко переговариваясь между собой, они



не спускали глаз со своих белокурых Вильгельмин и Доротей, танцевавших с фенрихами, поручиками и капитанами иноземных полков московской службы бесконечный польский, гротфатер или какой-нибудь танец с поцелуями. Другие мужчины не покидали стола, налегая на вина и закуски. Никто из гостей не докучал Петру церемонными приветствиями и разговорами.

С этого дня Петр стал часто наведываться в Кукуй, охотно принимая приглашения от офицеров и купцов на родины, крестины, свадьбы. Пил и танцевал вместе со всеми до упаду (впрочем, больше в метафорическом смысле: ни хмель, ни усталость не могли свалить его с ног); вот только долго не решался взять в зубы глиняную трубку с мерзким табачным зельем, помня указ своего покойного батюшки царя Алексея Михайловича о том, чтобы табачников метать в тюрьму, бить по торгам кнутом нещадно, рвать им ноздри, клеймить лбы стемпелями, а дворы их, и лавки, и животы — все имать на государя. Однако ему все-таки растолковали, что курение табака — невиннейшее развлечение. Все просвещенные народы Европы давно уже дымят во славу Божию, из чего, кстати говоря, их государи извлекают немалый доход — десятки, сотни тысяч червонцев в год. Обидно, что московские государи из-за пустого предрассудка лишают свою казну этого обильного источника доходов. Так не прикажет ли государь зажечь для него трубочку? Отличная вещь, и превосходно, кстати сказать, прочищает голову. И вот, при взгляде на немцев, сладко посасывавших свои чубуки, его неудержимо потянуло отведать, что это, в самом деле, за дымная прелесть такая.

Попросив набить для него трубку, Петр с удовольствием потянул носом душистый дымок, тонкой струйкой бегущий вверх, осторожно затянулся... Через какое-то время он с тревожным наслаждением почувствовал, как его тело стало легче, руки и ноги сделались точно не его, мысли исчезли... Сладкое наваждение! Нет, все-таки немцы славный народ, умеют пожить в свое удовольствие, не то что наши постники-кисляи...

Посещения Петром Кукуя сильно не понравились Наталье Кирилловне. Разговор с ней, состоявшийся однажды по этому поводу, был не из легких. Лицо Натальи Кирилловны выра-



жало твердую решимость пресечь зло в корне. Дитя начало пить и гулять! Это в шестнадцать-то лет! И если ему еще удалось с большим трудом доказать нелепость и невозможность ее требования прогнать от себя немцев и больше не знаться с ними, то слова матери о намерении женить его прозвучали словно удар грома и заставили в замешательстве умолкнуть.

Он не сразу вновь обрел дар речи. Жениться? Он не ослышался? Господи, зачем? Однако его поспешные и необдуманые возражения не произвели на Наталью Кирилловну никакого впечатления. Перечить ей бесполезно. Это ее последнее материнское слово. И нечего хныкать и строить умоляющие глазки — она уже все решила. Пора ему взяться за ум и прекратить водиться с пьяницами и еретиками. И потом, чего он так взъерепенился? Жена рая не лишит. А уж она подберет ему такую девицу, что он будет век благодарить свою матушку.



Царица
Евдокия Лопухина



Ее последние слова несколько успокоили Петра. Значит, невесты еще нет и его не потащат к венцу немедленно. А там, глядишь, все и забудется.

Но авось не вывез. Правда, прошло около двух месяцев, прежде чем Наталья Кирилловна вновь заговорила с ним о женитьбе, однако сама тщательность этой подготовки указывала на то, что решение ее неизменно. Да, Петруше не в чем упрекнуть ее — невеста просто загляденье: Евдокия Лопухина, дочь окольного боярина Иллариона Абрамовича.

Правда, она старше Петруши на три годочка, но уж зато красива, смирна, воспитана в страхе Божиим и в старых благочестивых обычаях — ей и глаза вверх поднять больно.

Не жена, а истинное благословение дому. Расхваливая Лопухину, она старалась не замечать хмурого молчания сына.

Софья оценила брачные хлопоты Натальи Кирилловны по-своему. Никак Преображенская волчица заботится о приплоде, чтобы закрепить престол за своим волчонком? Может быть, она еще надеется справить это событие всенародно? Нет, ни копейки не будет выделено из казны — пускай волчонок венчается не в Благовещенском соборе, как это принято у московских государей, а где-нибудь в другом месте, втихомолку. Народ должен видеть, что второй царь, собственно, и не царь.

И вот он стоял в небольшой придворной церкви Святых апостолов Петра и Павла, косясь на застывшую слева от него фигуру незнакомой женщины в тяжелом парчовом платье; голова ее, закутанная прозрачным покрывалом, была слегка наклонена вниз, и глаза опущены. Позади молодых Лев Кириллович и князь Борис Алексеевич держали венцы над их головами; двое других бояр — Тихон Никитич Стрешнев и молодой Алексей Матвеев — довольствовались ролью свидетелей и созерцателей венчального чина. Счастливая Наталья Кирилловна и растроганный отец невесты, Илларион Абрамович, в качестве царского тестя переименованный по обычаю в Федора, умиленно смотрели на своих детей. Шла неделя о блудном сыне, и Наталья Кирилловна, то и дело поднося к покрасневшим глазам платок, шепотом повторяла немудреные слова притчи, которую священник читал по Евангелию, лежавшему на аналое: «...сей сын мой был мертв и ожил; пропадал и нашелся»...

Первые же дни (или скорее ночи) медового месяца принесли с собой целый ворох новых чувств и переживаний, среди которых



наиболее сильными были яростное вожделение, испытываемое им к мягкому, податливому, беззащитному телу жены, смутно белевшему в темной пропасти постели, и пресыщенная опустошенность и даже страх, подступавшие к нему сразу же, как только его затуманенный наслаждением рассудок начинал сознавать, что их взаимное молчание уже не поддерживается немым красноречием возбуждения. Нужно было говорить, но о чем? Разве между ними есть что-нибудь общее? Утомительно-заботливые вопросы матери о его отношениях с молодой женой, — вопросы, как будто требовавшие в ответ восхищения и благодарности, — ставили его в тупик.

Пытаясь разобраться в том, почему жена продолжает оставаться для него чужой женщиной, Петр и сам настойчиво спрашивал себя, имеет ли он право быть ею недовольным. Конечно, мать права: его Дунька образец супруги, и жаловаться ему вроде бы не на что. Что касается домашних обязанностей, то тут ей, можно сказать, даже нет равных; к тому же послушлива, благонаравна, скромна, знает назубок Часослов и Псалтырь, Триоди цветную и постную, Октоих, Минеи, — словом, всегда готова Богу и мужу угодить и дом в добре строить. Между тем все внутри его протестовало против присутствия рядом с ним этой женщины, в своем смирении и послушании предъявлявшей на него такие неслыханные права, какими никогда не пользовалась даже его мать. Она вяжет его по рукам и ногам. Ну в самом деле, не может же он целыми днями просиживать возле нее, целуясь и милуясь с ней до тошноты (чего стоят одни уменьшительные словечки, которыми она взяла привычку именовать его!) и перемежая это занятие чтением столь любезных ее сердцу Минеи и Трефолая или беседами с полублаженными-полусвихнувшими нищими бродягами, внезапно в ужасающем количестве появившимися на женской половине дворца. А стоит ему побывать на Потешном дворе, как не знаешь, куда деваться от занудных увещаний никогда больше туда не ходить, ибо она всерьез считает всех иноземцев нечестивыми еретиками, общение с которыми грозит гибелью души и тела в сем веке и будущем. Тут недолго вконец обабиться, превратиться в зайку, птенчика, лапушку — такого пушистого Петрунчика для домашних утех. Рассуждая подобным образом, Петр начинал злиться — на жену, на мать, на себя...



Весь этот полумедовый-полуполынный месяц, бесконечными метелями и лютой стужей обрекший его на безвылазное заточение во внутренних покоях, Петр не переставал думать о том, как бы ему поскорее вырваться из дворца. Не проходило дня, чтобы он не вспоминал Плещеево озеро, старика Брандта, костяки своих кораблей, теперь уже, наверное, обросшие деревянной плотью. Жалел, что не остался там зимовать, — тогда бы все было по-другому... Эх!..

К счастью, весна наступила рано, весь март победоносно светило солнце, снег быстро осел, сделался грязным и ноздреватым и, наконец, пополз от дворца к Яузе, обнажая черные проплешины раскисшей земли. К началу апреля, когда войско под началом князя Голицына оставило Москву, отправившись во второй поход против хана, Петр уже не мог без зубовного скрежета видеть Преображенские стены и, едва просохли дороги, покатыл в Переславль.

На верфи Петр с радостью обнял своих стариков — Брандта и Корта. Они с гордостью показали ему плоды своего восьмимесячного труда: два корабля — фрегат и шхуна — были уже в отделке, дело стало только за канатами, с которыми, как не преминул отметить Брандт, в России обстоит все-таки не совсем благополучно. Петру не терпелось спустить корабли на воду, а тут еще озеро вскрылось как раз ко дню его приезда — хоть теперь же плыви! В Преображенское полетело письмо с требованием, не мешкая, прислать канаты; в противном случае Петр грозил матери задержаться в Переславле на более долгий срок.

Но Наталья Кирилловна тоже решила проявить характер. Вместо канатов Петр получил строгое приказание быстрее вернуться в Москву, чтобы поспеть к 27 апреля — дню кончины брата, государя Федора Алексеевича. Петр знал, что, как царь, он обязан присутствовать на панихиде; а ему было не до панихид и не до покойного брата (царствие ему небесное!). Мать хлопочет из-за Дуньки, понятно. Только бабам может прийти в голову оставить такое жгучее дело из-за панихиды!

Он попытался продлить вольные деньки, отговорившись недосугом. Однако во втором письме тон матери стал еще тверже; вместе с матушкиной грамоткой ударила челом и женишка его Дунька о скорейшем государя ее радости возвращении. Когда нарочный из Преображенского прочитал оба письма вслух Петру, с остервенением тесавшему в это время бревно, он в



сердцах воткнул топор в белую, пахнувшую смолой древесину. Отговариваться недосугом и дальше было очевидно нельзя да и совестно перед покойным крестным. Уныло посмотрев на почти готовые к спуску суда и поцеловав Брандта и Корта — уж постарайтесь, отблагодарю! — он отправился в Москву зевать на панихиде.

Получилось ни то ни се — к панихиде он опоздал. Да лучше бы и вовсе не ездил! Правда, он лично отправил в Переславль добрые канаты, зато сам вслед за ними выехал не скоро: мать и жена, обрадовавшись случаю, держали его за полы целый месяц. Когда же он, наконец, вырвался и полетел в Переславль, то как раз успел на нежданную панихиду — мастер Корт, не дождавшись его, преставился за сутки до его приезда.

Петр похоронил старика, как родного, и вечером выпил крепко. Наутро они вдвоем с Брандтом принялись за второй фрегат и в шесть дней завершили дело. Восьмого июня спустили корабль на воду и до поздней ночи веселились на нем вместе с мастеровыми людьми и экипажем, без чинов и церемоний. На другой день боярин Тихон Никитич Стрешнев, приехавший накануне из Преображенского с поручением от Натальи Кирилловны справиться, чем таким важным занят государь Петр Алексеевич, с трудом ожив, повез обратно короткую грамотку, писанную Петром второпях на грязном лоскуте бумаги: «Гей, о здравии слышать желаю и благословения прошу; а у нас все здорово, а о судах паки подтверждаю: зело хороши все, и в том Тихон Никитич сам известит. Недостойный *Petrus*».

Наталья Кирилловна с недоумением повертела бумажку в руках. Что еще за *Petrus*? Все немцы проклятые... Так скоро и совсем перекрестят ее Петрушу, не дай Господи! Нет, надо, наконец, переговорить с патриархом и думными боярами, чтобы оградили царский дом от еретиков...

Стрешнев говорил что-то о судах, но она никак не могла взять в толк его слова. Да и не до судов ей: хоть бы их и вовсе не было! Нынче стало известно, что Голицын возвращается из похода, и, как говорят, одержав неслыханную победу над ханом. Сонька совсем зарвалась, сидит в Думе царицей всяя Руси, а по Москве слухи бродят один страшнее другого — и все про заговоры и мятежи. Как это Петруша не понимает, что сейчас его место здесь, в Москве?

Вошла царица Евдокия, держа очи долу. Поклонилась, спросила, что государь Петр Алексеевич, здоров ли, скоро ли будет



назад? Наталья Кирилловна обняла ее, поцеловала в лоб. Петруша, слава богу, здоров и ей кланяется (ведь ни слова бедняжке не написал, стервец!). А домой приедет, никуда не денется — через неделю день ангела покойного государя Федора Алексеевича.

Кошка была необычная, степная, дикая; в ней не было ничего от опрятности и вкрадчивой ласковости домашних кисок, напротив, от ее грязно-палевой шкуры разило гнилью, и каждое движение выдавало в ней безжалостного хищника. Едва к ней приближался кто-то из людей, ее продолговатые зрачки вскипали черной кровью, и она молниеносно кидалась всем телом на железные прутья клетки и повисала на них, вздыбив шерсть и яростно шипя.

Эта кошка, доставшаяся казакам при внезапном налете на отряд янычар, была единственным трофеем возвращавшегося московского войска, поэтому ратники, офицеры и воеводы, в одиночку и группами, подходили и подъезжали в обоз посмотреть на нее. Ближе к клетке никто не подходил: все уже знали историю о рейтаре, которому излишнее любопытство стоило глаза — лапа животного оказалась длиннее, чем он предполагал.

Князь Василий Васильевич Голицын невольно вздрогнул сам и натянул поводья, чтобы успокоить испугавшуюся лошадь, когда кошка в прыжке глухо ударилась о прутья, тяжело качнув клетку. «Зла, как черт», — заметил кто-то из свиты князя, державшийся чуть поодаль за его спиной. «Зла, как татарин», — поправил говорившего генерал Патрик Гордон. Облаченный в тяжелый нагрудный панцирь и большой шлем с белым султаном, прикрывавший его лоб и щеки, он, несмотря на преклонный возраст, держался в седле необыкновенно прямо, хотя, быть может, и несколько грузно. Его широкое смуглое лицо с небольшим шрамом на правой скуле, ставшее совсем бронзовым от загара, выражало, по обыкновению, спокойную учти-вость, и голос звучал бесстрастно-ровно, однако Голицыну показалось, что его слова таят в себе некий намек, даже насмешку. Ну да, наверное, злорадствует про себя. Перед началом похода генерал убеждал князя держаться ближе к Днепру и через каждые четыре перехода воздвигать на берегу небольшие крепости с гарнизоном в несколько сот человек, — уверял, что татары придут



в ужас от известий о таком количестве крепостей и занятии всего берега Днепра войсками царских величеств, а у московского войска будет надежно обеспечен тыл; советовал также приготовить заранее понтоны и создать в каждом полку роту гренадер для метания ручных гранат. Все эти советы Голицын тогда самонадеянно отверг, и вот результат: преследуемые татарами полки откатываются к российским южным рубежам по голой степи, им не за что зацепиться, чтобы остановиться и дать отпор нападающему врагу.

Но кто же мог предвидеть, что все кончится таким позорным отступлением? Ведь им было сделано все, чтобы избежать ошибок предыдущего похода. Весь прошлый год он тщательно заготавливал припасы и воинский снаряд для людей, корма для лошадей, заботливо копил силы, несмотря на то что озлобленный хан бросался то на Волынь, то на Украину, добегал до Полтавы и вывел в Крым десятки тысяч невольников. Гнаться за татарами, чтобы отбить у них пленников, казалось бессмысленным — ведь он твердо рассчитывал пробиться в Крым и освободить разом весь христианский полон, и этот и предыдущий, — сотни тысяч соотечественников и единоверцев, уже не чающих увидеть вновь родные места.

И действительно, внушительный вид 100-тысячного войска при семистах пушках и огромном обозе, собравшегося ранней весной в Сумах, не вызывал сомнений в успехе похода. Необходимо было только как можно быстрее — пока солнце не высушило степь — достичь Карачакрака. Однако затруднения возникали на каждом шагу: степные реки разлились, и приходилось гатить заболоченные берега — версты на две и более. Тут князю пришлось мысленно согласиться с Гордоном, что понтоны и в самом деле не помешали бы. Впрочем, непредвиденные задержки ничему не повредили: когда в середине мая войско по Казикерменской дороге углубилось в степь, она сомкнулась вокруг необозримым океаном молодой, сочной травы, чьи зеленые волны, колыхаясь и постепенно синея, убегали к самому земному окоему; о пожарах не могло быть и речи. Зато спустя несколько дней Голицын смог в полной мере оценить совет предусмотрительного Гордона насчет гренадерских рот. Хан появился в тылу у московского войска внезапно, в полдень, в проливной дождь. Пушкари не успели развернуть неповоротливые орудия, завязшие в грязи, и татары загнали пешие



полки и драгун в обоз; только когда, наконец, в их густых толпах стали рваться ядра и гранаты, они отхлынули и остаток дня простояли вдали, на виду у русских. Поскольку хан не возобновил нападения, Голицын счел себя вправе отослать в Москву гонца с вестью о победе.

В конце концов, все складывалось неплохо. После двух переходов московская рать разбила лагерь возле Перекопа — небольшого, домов в четыреста, городишки без укреплений, опоясанного одним рвом, и с внутренним кремлем. Хан стоял рядом — на зеленых берегах Колончака. Было очевидно, что Перекоп не продержался бы и двух часов, и воеводы в голос настойчиво требовали немедленно начать приступ. Но Голицын словно оцепенел. И дело было не в том, что из Москвы пришло известие о предательских переговорах с султаном, в которые вступил польский сейм после неудачного похода короля Яна на Каменец; просто здесь, под стенами Перекопа, находясь у желанной цели, князь впервые задал себе вопрос: а что такое, собственно, Крым? Прежде, на военных советах, дело представлялось таким образом, что главное препятствие — это степь; при этом молчаливо предполагалось как само собой разумеющееся, что прорыв в Крым разом снимет все трудности с обеспечением войска водой и пищей, а лошадей — кормами. Почему же никто (да, генерал Гордон, никто) не сказал ему, что такое Крым? Оказывается, это Черное море с одной стороны и Гнилое — с другой; вода всюду соленая, колодцев нет, а за Перекопом начинается та же степь... Вот в чем заключается главная ошибка, ответственность за которую лежит в равной мере на каждом военачальнике (слышите, на каждом, генерал Гордон), и вот почему войска уже восьмье сутки плетутся назад, окруженные вагенбургом, под воинственный визг гарцующих вдалеке татарских орд.

Выкупив у казаков кошку, Голицын проследовал в свой шатер — великолепное сооружение из бархата и парчи, сделанное в виде крепости, с полотняными башенками наверху. Здесь, за атласным пологом, делившим внутреннее пространство шатра пополам, он устроился поудобнее на мягкой походной кровати немецкой работы и продолжил чтение цифирного письма, доставленного ему сегодня утром от Софьи, — занятие, которое он прервал, чтобы посмотреть на необычный казачий трофей. Положив перед собой шифр, известный только им двоим, князь буква за буквой записывал на листе бумаги



постепенно скидывавшие покров таинственности Софьины слова. «Свет мой, батюшка, — читал он, — надежда моя, здравствуй на многие лета! Зело мне сей день радостен, что Господь Бог прославил имя Свое святое, также и Матери Своей, Пресвятой Богородицы, над вами, свете мой! Не хуже израильских людей вас Бог извел из земли египетской: тогда чрез Моисея, угодника своего, а ныне чрез тебя, душа моя! Батюшка ты мой, чем платить за такие твои труды неисчетные? Велик бы мне тот день был, когда ты, душа моя, ко мне будешь. Если бы мне возможно было, я бы единым днем тебя поставила перед собою...»

Голицын остановился. Речиста царевна, настоящая *ученица* Симеона Полоцкого. Не чернилами — медом пишет. Только он не муха, чтобы на сладкое липнуть... «Единым днем...» А вернись он внезапно — пожалуй, и застанет в ее постельке-то на своем месте некоего чернокудрого думного дьяка? С самого начала похода к нему шли сообщения от верных людей, что Шакловитый в его отсутствие посещает царевнину опочивальню. С одним из таких писем князю прислали гравюру с портретом Софьи и похвальным ей словом, которую дьяк с недавних пор распространял в народе. Этот лист лежал на столике рядом с кроватью, и Голицын, бросив расшифровку, взял его в руки. Гравюра изображала Софью в полном царском облачении, располневшую, неприятно мужеподобную; черных усов в уголках ее верхней губы, однако, нарисовано не было. Надпись внизу прославляла всероссийскую государыню и самодержицу, которая бунт утишила, монастыри строит и к людям милостива и премудра. «И как ни велика Россия, — читал Голицын, изумляясь бесстыдной бойкости дьякова пера, — но все еще мала пред благочестивой мудростью Божьей милостью вседержавнейшей великой государыней царевной Софьей Алексеевной, не уступившей ни Семирамиде Вавилонской, ни Елизавете Британской, ни Пульхерии Греческой делами славы». Поторопился Федор Леонтьевич с титулами — с коронацией-то опять придется повременить... Но главная непристойность гравюры заключалась в изображении на ее обороте — там был помещен образ святого мученика Федора Стратилата, которому художник придал черты лица Шакловитого, и, конечно, не без его ведома. Так что не требуется и внезапного появления в царевниной опочивальне — имеющий глаза да видит...



И все же Голицын думал о ловком дьяке без ревности. Может быть, ему следует позаботиться, чтобы Федька и впредь ублажал царевнины телеса? Не бог весть какая потеря. Растолстела, как султанша в гареме; и потом, этот ее поздний любовный пыл... На его положении верховного правителя и единственного распорядителя всеми государственными делами это никак не отразится — Софья умна и понимает разницу между державой и постелью. Однако было в этом внезапном приближении Шакловитого нечто такое, что глубоко тревожило князя Василия Васильевича. Не готовит ли Софья новое побиеание за Дом Пресвятой Богородицы? Лучшего головореза для такого дела ей, конечно, не найти. А тогда Федька войдет в такую силу, что действительно сделается опасен — куда там князю Хованскому!

С другой стороны, прешпурхский царь скоро достигнет совершеннолетия. И что самое печальное — без таких людей, как Шакловитый, эту задачку с двумя царями, пожалуй, не решить... Эх, почему всех Нарышкиных тогда вместе с боярами не ухидили — не над чем было бы теперь голову ломать!

В Москве было знойное, душное лето. В Белом городе, в Китае, в посадах и слободах, что ни день, разгорались большие пожары, истреблявшие разом по несколько десятков дворов, церкви, монастыри... Кареты, телеги, всадники, проезжавшие по улицам, вздымали вместе с клубами пыли пепел, густым слоем лежавший на мостовых, — его легкие хлопья кружили в воздухе, точно серый снег... Царь Иоанн Алексеевич приказал, чтобы в городе не зажигали огня в черных избах.

На панихиду по крестному Петр снова опоздал — аж на четыре дня. Хотел немедленно укатить обратно в Переславль, да не тут-то было — мать и бояре насели на него: останься. Князь Борис Алексеевич Голицын ежедневно приглашал его к себе или сам приходил вечерами и за стаканом венгерского настойчиво втолковывал, что пора положить конец притязаниям Софьи. Случай удобный: оберегатель опять возвращается ни с чем, войско — в том числе и стрельцы — возмущено неудачей и раздражено тяготами похода, Дума ропщет. В общем, Софья теряет поддержку. Государю Петру Алексеевичу следует постепенно брать власть в свои руки. Шаг за шагом теснить ее,



отстранять от дел. И начать нужно сейчас, пока она и ее приверженцы в растерянности. Народ должен увидеть, что цари больше не нуждаются в опеке. Петр слушал и досадливо морщился. Что за спешка? Все идет своим чередом, приближается день его совершеннолетия, и Софья ничего не может с этим поделать. Неужели нельзя подождать до осени? Теперь самое время плавать! Князь Борис Алексеевич улыбался, подливал вина. «Потерпи, Петр Алексеевич, — говорил он, ставя на стол опорожненный стакан из богемского стекла и облизывая нижней губой кончики усов, — потерпи, корабли не уйдут. Вот свалим Софью — и будешь делать что тебе угодно: никто тебе, самодержавному государю, не будет помехой».

Все эти разговоры сильно не нравились Петру. Однако сам воздух в Преображенском, казалось, был пропитан тревожным ожиданием каких-то важных перемен, и Петр невольно подчинялся общему настрою. К тому же оказалось, что царица Евдокия брюхата. При встречах с женой Петр, робея, косился на ее округлившийся живот, напоминавший ему вздутый ветром парус, и старался быть лапушкой и котиком, как того требовали ее скромно потупленные глаза и собственное смутное чувство отцовского долга.

Впрочем, не сидеть же ему, в самом деле, во дворце до своего совершеннолетия! Все кругом твердят ему о Софье, об исходящей от нее опасности — хорошо: он покажет всем им, что достаточно одного его слова, чтобы вновь вернуть сестру в терем. Ведь кто она, в сущности? Никто. А он — царь. Его слово — закон. Посмотрим, как она посмеет послушаться. Итак, решено: он на глазах у всех грозно прикрикнет на Софью — и в Переславль.

Для исполнения своего намерения он выбрал 8 июля — день празднования явления чудотворной иконы Казанской Богоматери, когда царская семья принимала участие в крестном ходе со всеми сороками из Кремля в Казанский собор. Софья, конечно, будет на литургии и, разумеется, захочет в нарушение обычая показаться народу. Тут-то он ее и одернет. И действительно, Софья пришла в Успенский собор, — и не вместе с другими царевнами, а отдельно, в сопровождении пышной свиты. Ее наряд, соперничавший по роскоши с царским, поражал своим великолепием. На ее величаво и гордо вскинутой голове покоилась корона ослепительного блеска, искусно составленная из драгоценных камней и жемчугов в виде двенадцати башенок,



по числу апостолов; по обеим сторонам лица с короны на грудь царевны ниспадали тройные рясы из бриллиантов и неправдоподобно огромных изумрудов, пышущих прозрачным зеленым огнем. Поверх платья из толстого шелка, густо усаженного жемчугами и камнями, она накинула отороченную черным лисьим мехом мантию с долгими рукавами, с виду простую и безыскусную, но на самом деле сотканную из чрезвычайно дорогой материи. Тяжелое ожерелье закрывало ее широкие плечи и высокую грудь, а с шеи свисала длинная золотая цепь. Появление Софьи в соборе вызвало удивленно-восторженный вздох. Хотя и Петр, и Иван уже находились внутри храма, при первом же взгляде на Софью было ясно — пришла она, настоящая правительница, самодержица.

Началась служба. Петр стоял рядом с братом, кусая губы и дрожа от ярости. К его стыду, величественный вид Софьи произвел впечатление и на него. Да, такую не хлестнешь походя презрительным словом. Пытаясь подбодрить себя, он распалял свою злость. Ишь вырядилась, стерва. Жаба. Корова. Толстомордая бабища. Развратница. И все же вместо желанной решимости он чувствовал только неприятный холодок в животе.

После обедни, когда все царевны, кроме Софьи, удалились во дворец, а патриарх и вслед за ним и другие участники торжественного шествия подняли иконы, готовясь выйти из храма к народу, Петр, побледнев, направился к Софье. Все взгляды устремились на него, и неожиданно в соборе воцарилась полная тишина. Софья удивленно посмотрела на него — и поняла. Гордо выпрямившись, она ждала его, тучная, неподвижная, с застывшим, точно маска, лицом, густо намазанным белилами и румянами.

— Возвращаясь с царевнами в терем, — произнес Петр сдавленным голосом, в котором явственно звучала предательская хрипотца, — тебе идти вместе с государями непристойно.

Глаза Софьи смотрели куда-то мимо него. Не отозвавшись ни словом, она взяла из рук Шакловитого образ «О тебе радуется» в поновленном окладе и медленно пошла за крестами и хоругвями, в сиянии смиренного благочестия. У Петра мучительно запылали лицо и уши, правый ус задергался вместе со щекой. Круто развернувшись, он вышел — почти выбежал — из собора и уехал в Преображенское.

Эта стычка не имела видимого продолжения; две последующие недели прошли спокойно, хотя Преображенское и Кремль



напряженно следили друг за другом, а в городе судили и рядили, что будет дальше: то ли Софья пойдет со стрельцами на Преображенское, то ли прешпурхский царь со своими потешными конюхами захватит Кремль и заточит царевну в монастырь. Наталья Кирилловна, ее брат Лев Кириллович и князь Борис Алексеевич без конца донимали Петра разговорами, чтобы он ни в коем случае не оставлял их одних, иначе Софья учинит новый мятеж. Теперь-то он убедился, что она спит и видит, как бы подмять престол под свой толстый зад. Петр хмурился, сопел и играл желваками.

Затем, в конце июля, в Москву возвратился князь Василий Васильевич Голицын. Софья приготовила ему пышную встречу — с почетным караулом из боярских детей и стрельцов, колоколами, торжественным молебном. Приказу Большой казны велено было припасти золотые в награду войску и воеводам; главного начального ждала золотая медаль, усыпанная бриллиантами, золотая цепь в триста червонных и деревеньки в Суздальском уезде. Народу было объявлено о неимоверных победах православного воинства над погаными. Победные реляции вручили резиденту венецианскому, посланнику цесарскому, сверх того разослали грамоты восточным патриархам, папскому нунцию в Польше и во все концы света.

И вдруг посреди этих шумных торжеств и упоительных величаний по городу разнеслась весть, что Петр не только не утвердил предназначенные Голицыну и воеводам награды, но и не допустил их самих к руке, когда они пришли ударить челом к нему в Преображенское. Два часа дожидались они в сенях приема — он даже не вышел к ним.

Софья забила тревогу. Тем же вечером она пошла к всенощной в Новодевичий монастырь (был праздник Богородицы Одигитрии Смоленской), окруженная пятисотенными и пятидесятиниками всех стрелецких полков. По окончании службы, в четвертом часу ночи, она велела подать себе стул и подозвала стрельцов.

— И так прежде была беда, да Бог сохранил, а ныне опять беду зачинают, — начала жаловаться она на Преображенских. — Годны ли мы вам? Буде годны, вы за нас стойте, а буде не годны, мы с братом Иваном оставим государство и пойдем искать где-нибудь себе кельи.



— Твоя воля! — отвечали стрельцы. — Мы повеление твое готовы исполнить, что велишь, то и станем делать.

— Ждите повестки! — объявила Софья и распустила их.

Ответ стрельцов удовлетворил ее, однако на их лицах она прочитала какое-то смущение. Подозвав Шакловитого, Софья поручила ему переговорить с ними определенное. На другой день Федор Леонтьевич собрал у себя стрелецких начальных. Угощал вином, втолковывал:

— Всех нас хотят перевести: меня думают высадить из приказа, а вас разослать по городам. Царевну же Лев Нарышкин и князь Борис Голицын называют девкой и хотят извести. Без нее мы все пропали. А всем мутит старая царица. Будьте готовы послужить царевне. Как услышите, что ударили в Спасский набат, бегите в Кремль и, кого велим брать, берите.

Начальные благодарили за угощение, но бунтовать отказались:

— Буде до кого какое дело есть, скажи нам царский указ: мы того возьмем. А без указа ничего делать не станем, хоть множества бей в набат.

Напрасно Шакловитый убеждал их, что из розыска ничего не выйдет — надо злодеев принять на копья! Готовность подняться за царевну по набату выразили только пятеро начальных: урядники Обросим Петров, Алексей Стрижев, Андрей Кондратьев и пятидесятники Кузьма Чермный и Никита Гладкий.

Минула еще одна неделя. Петр по-прежнему безвылазно сидел в Преображенском, шатался без дела по дворцу, с грустью замечая, как за окнами начинает жухнуть листва в садах. Видно, так и не поплавать ему этим летом на Плещееве. Военные упражнения с потешными тоже заглохли — огненный снаряд хранился в Оружейной палате, а с Кремлем все сношения были прерваны. Теплыми августовскими ночами Петру снились корабли, их благородные очертания, он слышал натужный скрип мачт, радостно вдыхал будоражащий запах пропитанной дегтем древесины...

В одну из таких ночей он был внезапно разбужен постельничим Гаврилой Головкиным, который доложил, что его немедленно желают видеть князь Борис Алексеевич и Лев Кириллович. Говорят, что дело безотлагательное. А с ними два каких-то стрельца — с изветом на Софью...

Изветчики назвались Мельновым и Ладогиным, стрельцами Стремяного полка. Сказали, что сведали про злодейский умысел Федьки Шакловитого на жизнь государя и его матери, царицы.



Все началось утром, когда царица Софья разгласила, что пойдет пешим походом в Донской монастырь, по обещанию, и велела Шакловитому отрядить ей стрельцов побольше — дескать, за несколько дней перед тем, во время ее предыдущего похода, неизвестные злодеи зарезали на Девичьем поле, у нее на глазах, отставного конюха. Потом в полках заговорили, что в царских хоромах найдено подметное письмо — будто потешные конюхи ночью придут из Преображенского в Кремль для избиения государя Иоанна Алексеевича и всех его сестер. Князь Василий Голицын распорядился, чтобы стрельцы встали в стенном карауле в Кремле, Китае и Белгороде и все ворота запирали, как пробьет первый час ночи, а отпирали за час до света. Когда начало смеркаться, Шакловитый приказал стрелецким начальным собрать в Кремль по сто человек из Стремянного, Рязанова, Жукова и Ефимьева полков, с заряженными ружьями; сверх того велел тремстам стрельцам Стремянного полка встать с ружьями на Лубянке. На вопрос стрельцов, зачем их подняли по тревоге, начальные отвечали разное: одни говорили, что нужно сопроводить царицу в Девичий монастырь, другие — что их поведут в Преображенское пострадать прешпурхского царя, третьи уверяли, что ночью придут потешные конюхи для какой-нибудь хитрости. Сами они, Мельнов с Ладогиным, стояли на Лубянке и своими ушами слышали, как пятидесятник Никита Гладкий кричал, что он привязал уже веревку к Спасскому набату, и хватал, как будет грабить патриаршую казну и как перепугается патриарх, когда он, Гладкий, закричит на него своим зверским голосом. А другой начальник, Кузьма Чермный, говорил, что-де хотя всех уходим, а корня не выведем, пока не убьем медведицы, старой царицы. Только они, верные слуги государевы, Мельнов с Ладогиным и их пятисотенный Ларион Елизарьев, вспомнив Бога, условились не участвовать в этом воровском деле. Елизарьев велел отомкнуть церковь Преподобного отца Феодосия, что на Лубянке, и позвать священника — и там перед святым Евангелием они трое, целуя крест, дали клятву спасти государя Петра Алексеевича. И как только Гладкий заорал, что в Кремле все готово и пускай-де начальные кличут по слободам и ждут набата, Елизарьев велел им немедля скакать в Преображенское с изветом.

Что там происходило в Кремле в эту ночь, вызнать доподлинно Петру так и не удалось. Никакого нападения на Преображенское



не последовало. Позднее, во время розыска, он окончательно запутался среди самых разноречивых показаний, а главные воры, казненные чересчур поспешно, злодейский умысел отрицали (хватило с них, впрочем, и других вин). Вспоминать об этой ночи он не любил, ибо в душе прозревал истину. Все вышло как-то само собой. И Кремль, и Преображенское долго взвинчивали, пугали самих себя — стрельцами, потешными полками, — и, конечно, ни там ни там не отваживались начать первыми, пока накопившийся обоюдный страх не вызвал открытого столкновения. И как это обычно бывает, довела дело до разрыва наиболее перетрусившая сторона. Жгучий стыд за себя пришел к нему потом, а тогда, в ту ночь, не было ничего, кроме жуткого, животного страха за свою жизнь. В памяти разом ожило и живо предстало перед глазами все, что он пытался забыть, запрятать в самые отдаленные ее уголки: и залитое кровью Красное крыльцо, и ухмыляющееся скуластое, рыжебородое лицо, и бессильно обвисшие на копьях тела, оцетинившиеся окровавленными остриями...

Пересилить себя, думать о чем-то еще он просто не мог, и когда кто-то сказал, что ему надо бежать, укрыться от злодеев, Петр, не помня себя, как был в исподнем, растолкав сгрудившихся возле его кровати людей, метнулся в конюшню и очнулся в ближайшем лесу, в крошечной тьме, проколотой блестящими остриями звезд. Здесь охвативший его ужас достиг своего предела. Куда ехать дальше? Вот так схорониться, исчезнуть, пропасть легко беглому холопу, но где может спрятаться он — Царь? Потом он слышал окликавшие его голоса и затих, моля Бога только об одном — чтобы не заржала его лошадь. Однако вскоре, опознав в кричавшем Головкина и одного из своих карликов, он откликнулся. Они привезли с собой государево платье и совет князя Бориса Алексеевича — ехать в лавру. Поспешно одеваясь, Петр вдруг почувствовал, что краснеет, и подумал: хорошо, что темно — не видно. Впрочем, минутный стыд скоро забылся в бешеной скачке, продолжавшейся всю ночь. В шестом часу утра он уже стучался в ворота лавры, измученный, окутанный паром, исходившим от боков лошади и его пропитанного росой и потом кафтана. Монахи сняли его с коня, внесли в дом архимандрита, уложили в постель. Едва схлынуло возбуждение, вызванное скачкой, им снова овладел дикий страх, и он в слезах, с трясущейся головой, вцепился в благословляющую



его руку архимандрита Викентия и прижал ее к груди, прося у него защиты и обережения...

В Кремле о бегстве младшего царя узнали не тотчас. Утром, часа за два до света, Софья созвала стрельцов и пошла с ними в Китай, к церкви Казанской Богоматери, слушать акафист. В храме с ней был один Шакловитый. Князь Василий Васильевич занемог и вообще в последнее время как-то хандрил, прятался от людей в своем загородном доме.

Новость ошеломила Софью. Во внезапном бегстве Петра было что-то непонятное и потому угрожающее. Шакловитый был хмур и молчалив. Оба понимали, что им остается только одно — ждать, пока Петр вновь заявит о себе.

Когда заблаговестили к заутрене, Софья вышла из храма. Стрельцы обступили ее, послышались вопросы о причине ночного переполоха.

— Если бы я не опасалась, всех бы нас этой ночью передавили потешные конюхи, — сказала она.

— А где прешпурхский царь? Почему оставил Москву? — продолжали допытываться стрельцы.

Шакловитый с деланым равнодушием пожал плечами и мрачно отрезал:

— Вольно ему, взбесясь, бегать.

Стрельцам выдали по рублю и распустили по слободам.

Днем выяснилось, что князь Борис Голицын увез в лавру Наталью Кирилловну с дочерью, Льва Кирилловича, беременную царицу Евдокию и многих окольных бояр. Туда же по своему почину двинулись оба гвардейских полка и весь стрелецкий Сухарев полк с пушками, мортирами и снарядами. Тайно покидали Москву и другие приверженцы Нарышкиных. Москвичи пребывали в сильном волнении и беспокойстве оттого, что царь оставил стольный град, и ждали всякого худа.

Софья крепилась, выдерживала характер почти неделю и, наконец, по требованию Думы, послала в лавру боярина Троекурова — просить Петра вернуться в Москву. Посыльный уехал и возвратился с царским указом ко всем полковникам и урядникам стрелецких и иноземных полков: чтобы они, взяв с собой по десяти человек с полка, ехали к Троице для великого государственного дела, которое будет им объявлено самим государем.

Царевна почуяла, что дело принимает худой оборот. Так, пожалуй, Нарышкины всю Москву переманят к себе, в Троицу,



как когда-то сделала она сама, будучи в распри с Хованским. Оказывается, волчонок вовсе не глуп. Хотя нет, самому ему до этого не додуматься, верховодит там князь Борис Голицын, ясно. Что ж, если они думают, что она даст себя провести, как князь Тараруй, то сильно ошибаются. Она распорядилась усилить караулы в Земляном городе и перехватывать всех гонцов из лавры. Созвав полковников, пригрозила снять голову любому, кто вздумает отправиться в лавру. На первый раз никто не поехал: одни побоялись угрозы, другие поверили Шакловитому, что грамота писана не самим Петром, а князем Борисом Голицыным.

Федор Леонтьевич со своей стороны предпринял усилия, чтобы вернуть в Москву Сухарев полк. Он послал верных людей к стрелецким женам — поугадать стрельчих, что пойдут на их мужей сильные полки и им не устоять: в Троице всего один полк, а в Москве — девятнадцать. Так что пускай уговорят мужей повинуться перед царевной. Сухаревцы, однако, не дрогнули, остались при Петре.

Оправдываться перед Петром за неисполнение его указа был послан патриарх Иоаким. Владыка поехал в лавру, да там и остался, анафемствуя, к великой досаде Софьи, злого вора и еретика Федьку Шакловитого и его сообщников. Тут уж струсили и самые преданные Софье стрельцы. Толпами приходили они в Заиконоспасский монастырь к Сильвестру Медведеву и спрашивали: как быть? Медведев и Никита Гладкий, почти не выходивший из его кельи, успокаивали их:

— Не бойтесь! Хотя и возьмет верх сторона царя Петра, но много что дней на десять, а там опять будет сильна рука государыни царевны Софьи Алексеевны. Надобно перетерпеть.

В конце августа из лавры пришла вторичная царская грамота всем полковникам: чтобы ехали к Троице без оплошки, а послушникам — смертная казнь. Полковники Нечаев, Спиридонов, Норматский, Дуров, Сергеев, более пятисот урядников и множество стрельцов, не спросив Софьи, в тот же день выступили из Москвы. В лавре их встретил Петр с матерью, патриархом и боярами. Он зачитал им выписку из изветов о злодейском умысле Шакловитого известить его, государя, и царицу Наталью Кирилловну, а патриарх поучал донести, кто что знает про это воровское дело. В ответ стрельцы слезно возопили, что они Федькиного злого умысла не знают и не ведают, великим государям служат и работают, воров же и изменников ловить рады и во всем



волю государскую исполнять готовы. Назад в Москву отрядили по десять человек из каждого полка с указом: Федьку Шакловитого поймать и доставить к государю для розыска.

Софья не знала, что предпринять. С каждым днем власть незаметно, но неумолимо ускользала из ее рук. Обсуждение государственных дел в Думе как-то само собой прекратилось; в приказах не знали, кого слушаться. Посыльные и гонцы большей частью не возвращались, застревая в лавре. В эти дни в Москву прибыл гетман Мазепа с ежегодным отчетом о малороссийских делах; Софья отвела ему обширный двор в Белгороде, но принять не имела сил и переносила аудиенцию со дня на день. От Голицына и Шакловитого было мало проку: первый засел в своей усадьбе в Медведкове, второй надоедал ей жалобами на непокорство стрельцов. Дворец постепенно пустел — бояре скрытно и явно уезжали к Петру. Софья целыми днями просиживала в своих покоях, необранная и непричесанная, безучастно глядя на кишевших вокруг нее карлов и карлиц, пытавшихся ее развлекать. Они разыгрывали перед ней самые любимые ее зрелища: то хоронили монаха; то садились кругом друг другу на колени, а кто-нибудь вышибал одного — и весь круг валился; то, сидя в лукошках, представляли куриное царство — квохтали, хлопали крыльями, подбирали ртом рассыпанные по полу леденцы. Однако их усилия пропадали втуне — лицо царевны оставалось все таким же пасмурным, а под ее тяжелым взглядом глохло самое искреннее веселье. В сотый раз обдумывая свое положение, она убеждалась, что у ней оставался один выход — личное унижение.

И она пошла на него. В последний день августа, по-осеннему солнечный и тихий, она велела заложить карету. Шакловитый и князь Голицын проводили ее за Земляной город. У загородного двора боярина Шеина она пожаловала их к руке и дальше поехала одна. Верстах в десяти от Троицы, в селе Воздвиженском, где когда-то был казнен князь Тараруй, ее карету остановил стольник Бутурлин, который объявил волю государя — чтобы она в монастырь отнюдь не ходила.

— Непременно пойду! — рыкнула она и в гневе задернула шторку на стеклах кареты.

Бутурлин попросил ее подождать, пока он снесется с государем. Она не пожелала выйти на воздух и два часа провела в карете, в духоте, со злобой давя мух на дорогой обивке.



Наконец из лавры приехал князь Троекуров, который передал ей слова Петра: если она поедет дальше, то с ней поступлено будет нечестно. Осыпав посланца бранью, Софья крикнула кучеру, чтобы он гнал в лавру. Но в этот момент вдалеке показались красные мундиры преображенцев. Софья с ненавистью поглядела на них и покатила назад, в Москву.

Приехав в Кремль на рассвете, она велела собрать стрельцов, но не всех, а только старых, верных — участников побиения за Дом Пресвятой Богородицы.

— Чуть меня не застрелили, — поведала она им о результате своей поездки. — В Воздвиженском прискакали на меня многие люди с ружьями и самопалами. Я насилу ушла. Затевают Нарышкины извести царя Иоанна Алексеевича, и до моей головы доходит. Вы послужите нам и к Троице не уходите. Я вам верю: кому и верить, как не вам, старым?

По ее приказу вынесли крест и привели стрельцов к присяге. Затем, выдав каждому по сто рублей, Софья отпустила их.

Пройдя к себе в опочивальню, она забылась тяжелым темным сном. Проснувшись под вечер — и уже в чужом, не своем городе. Пока она спала, в Москву приехал полковник Нечаев с сотней стрельцов и петровским приказом выдать Шакловитого и Медведева. Приказ зачитали во всех стрелецких слободах. Полки кричали:

— Воля великих государей! А мы за воров не стоим и сыщем их, исполним по указу!

Сильвестр Медведев скрылся в монастырское сельцо Микулино, в семи верстах от Москвы; с ним ушли Никита Гладкий, Стрижев и Кондратьев. Там они встретились со знакомым волхвом Василием Иконником, часто бывавшим в келье у Медведева, и обступили его: что им делать? Волхв важно отвечивал, что владеет самим сатаной, и если царевна даст ему 5 000 рублей, то все будет по-прежнему и даже лучше: Медведев будет царем на Москве, а оба Алексеевича умрут в одну ночь. Ему не поверили — плюнули в рожу и побежали дальше, в Польшу.

Шакловитый забился в самый отдаленный уголок дворца, позади хором Софьи. Она предлагала ему бежать и отсидеться в лесу, но он не смел оставить свое укрытие — вокруг дворца постоянно толпились стрельцы, которые громко роптали, что примирение царевны с братом тянется так долго.



«Дела идут плохо», — крупным твердым почерком вывел в дневнике генерал Патрик Гордон.

Он сидел за письменным столом в своем кабинете, в нише одного из двух окон, перед которым простиралась вдаль садовая аллея. Единственным украшением этой просторной и светлой комнаты служили несколько семейных портретов, впрочем ничем не примечательных, а ее меблировка, помимо стола, ограничивалась книжными полками, тянувшимися вдоль стен, и кожаным креслом, стоявшим в другой нише, рядом с маленьким секретером; изразцовая печка, расположенная в углу, за спиной генерала, была расписана монограммами и гербами королевского дома Стюартов.

Гордон хмурил лоб и покусывал свои коротко остриженные усы. Да, радоваться нечему. Ссора царевны с братом так или иначе задевает каждого — уже больше месяца вокруг не видно ни одного веселого или просто благодушного лица. Вот и нынче — на дворе 4 сентября,

Новый год по московитскому календарю, а в городе и Кремле люди ходят кислые, точно на похоронах. Все приготовления к празднику отменены по случаю отсутствия патриарха и обычного нездоровья старшего царя; царевна отметила праздничный день лишь тем, что утром пожаловала думных бояр и дворян, стрельцов и иноземных офицеров чаркой водки из собственных рук. Впрочем, настроение у него было испорчено отнюдь не из-за недостатка развлечений. После утренней церемонии состоялся прием у князя Голицына, где Гордон как старший в присутствии всех полковников вскрыл, наконец, вторичное послание Петра и обратился к сберегателю с почтительной просьбой вразумить их, что им делать. Князь обещал, что все устроится в ближайшие дни. На это Гордон возразил, что он, вместе со всеми офицерами, принятыми в московскую службу, опасается потерять голову за послушание царского приказа. Голицын смутился и смог лишь пообещать переговорить вечером с царевной об этом деле, в то же время попросив полковников ничего не предпринимать до следующего дня, дабы не вызвать гнев Софьи.

Следуя многолетней привычке, Гордон занес в дневник все события сегодняшнего дня. Закончив писать, он отложил перо, задумался. Дневник — толстая тетрадь, многие страницы которой



были переложены адресованными ему письмами, пояснявшими те или иные эпизоды его жизни, — лежал раскрытый перед ним. Вот он, послушной список солдата, честная летопись нелегкого восхождения по служебной лестнице. Генерал не смог отказать себе в удовольствии с грустной улыбкой перелистать некоторые страницы. Гордоны — знаменитый древний шотландский род, к сожалению чересчур многочисленный и разветвленный для того, чтобы обеспечить достойное существование всем своим отпрыскам. Что еще остается молодому человеку, младшему сыну в семье, согласно закону о майорате лишенному права наследства, делать в стране, где верность королю и церкви заранее закрывает всякий путь к получению образования и малейшему продвижению по службе, как не искать счастья в чужих краях? И вот в расцвет диктатуры Кромвеля он на континенте, в Браунобергской иезуитской коллегии. Однако затворническая жизнь не по нем, и он оставляет училище, чтобы предложить свою шпагу и кровь шведскому государю Карлу X, «молчаливому королю», который один, наподобие паладина из рыцарского романа, ведет в Польше войну против всей Европы. Впрочем, кратковременное пребывание в коллегии прошло не без пользы — отцы-иезуиты сумели привить ему любовь к ученым занятиям, не раз с тех пор скрашивавшую его досуг: среди немногих вещей, с которыми молодой новобранец прибыл в шведский лагерь под Варшавой, была и кипа книг, аккуратно перевязанная бечевкой.

Так началась его тридцатилетняя военная карьера. Зачисленный в шотландскую дружину, наводившую ужас на вражеских солдат, а еще более на обывателей, Гордон не обнаружил ни недостатка в храбрости, ни чрезмерной щепетильности — он никогда не имел наивности полагать, что людей можно заставить воевать ради жалованья, которое к тому же, как он успел заметить, воюющие государи платят весьма неохотно. Генерал скользил глазами по страницам, вспоминая шестилетнюю польскую заварушку — головокружительные походы через всю страну, сражения, ранения, польский плен и поступление на польскую службу, шведский плен и возвращение на шведскую службу, взятие городов, отчаянные кавалерийские рубки, опять польский плен и вторичный переход под шведские знамена, болота Мазурии, скифская стужа и вновь польский плен...

Наконец созрело решение, зафиксированное твердым крупным почерком на одной из страниц, относящихся к тем бас-



нословным годам молодости: «Ему (он писал о себе в третьем лице, подражая Цезарю) не годилось служить у шведов, где солдату угрожала опасность погибнуть или от голода, или каким-нибудь другим образом. Ведь главная цель Гордона была составить себе счастье, а в шведской службе теперь это трудно было сделать, потому что у шведов на шее были — император, короли датский и польский и царь русский». Да, подумать только, было время, когда он радовался, словно бесценному сокровищу, отбитой у крестьян кляче!

Составить себе счастье на польской службе оказалось не менее трудно, чем на шведской, и молодой капитан-лейтенант начал искать более щедрого государя. Русские бояре, взятые им в плен в битве на Чудновском поле, рассказали ему, что нигде в мире наемные немцы не живут так хорошо, как под высокой рукой московского царя. Заинтересованный, Гордон поехал в Варшаву побеседовать с русским послом. Условились, что он вступит в службу майором, с тем чтобы через два года его произвели в полковники.

Что говорить, на обещания москвиты не скупятся.

Он выехал в Москву полный самых радужных надежд. Однако здесь опытный искатель добычи столкнулся с другими знаменитыми искателями добычи — московскими дьяками. По приезде велено было выдать майору Гордону подарок за поступление в государственную службу — двадцать пять рублей деньгами и на столько же — соболей. Только как ни ходил он к дьяку Иноземного приказа — все напрасно: дьяк и слыхом не слыхивал ни про какой подарок. Наконец он пошел жаловаться на дьяка приказному боярину. Тот рассмеялся такой беде. Сразу видно, что майор Гордон недавно приехал в Москву. Дьяк вовсе не такой злодей, каким кажется. Просто он ждет, пока майор слегка подмаслит свою просьбу, вот и все. Что делать, таков обычай. Каждый промышляет на своем месте как может. Московитский обычай показался Гордону странным и обидным. Он еще два раза сходил к дьяку — опять ничего. Вспылив, прямо спросил боярина, что не понимает, у кого больше власти — у него или у дьяка? Боярин, рассердившись, позвал дьяка, схватил за бороду, потаскал порядком и отпустил, пообещав кнут, если немец еще раз придет к нему с жалобой. Ободренный, Гордон отправился в приказ вслед за побитым дьяком, но тот с руганью объявил ему, что сейчас в приказной казне нет ни денег, ни соболей.



Все же Гордону удалось поставить на своем — государев подарок он в конце концов получил; но борьба со строптивым дьяком так измучила неутомимого воина, что он запросился в отпуск. В ответ он услышал, что отпустить его из Москвы никак нельзя: идет война с Польшей, и подобная просьба, тем более высказанная католиком, может кончиться Сибирью. Хорошо, если нельзя на Запад, он рванулся на Восток — в Персию, с царским посольством, но вновь получил отказ: его-де нанимали для ратной службы. А какая к дьяволу ратная служба — сидеть в Москве и задаривать людей, которые ловят пером соболей! Добро бы еще платили хорошо, а то жалованье маленькое и выдается медью — жить нельзя, не то что скопить. Пытался он уволиться, но понял, что, раз вступив в русскую службу, нельзя уже отделаться от нее; единственный обратный пример, как он узнал, был капитан Маржерет, служивший всем царям от Годунова до Михаила Федоровича. Пришлось остаться и зажить по русским обычаям. Созвав дьяков Иноземного приказа к себе на пирушку, Гордон выдал каждому по соболю. С этих пор все пошло как по маслу — если возникало у него какое дельце, то сразу обделывалось приказными друзьями в его пользу.

Вспоминать эти годы было неприятно. Гордон быстро превращивал страницы дневника. Служебная рутина, мелкие дразги, бедность... И знакомство еще с одним московитским обычаем — обещанного три года ждут. Полковником он стал лишь спустя пятнадцать лет, после похода против Чигиринского гетмана Дорошенко; правда, потом, отстояв отбитый у гетмана Чигирин от турок, был пожалован в генерал-майоры.

Переход власти в руки Софьи, казалось, возвестил о наступлении хороших времен. Гордон тесно сблизился с Голицыным. Князю Василию Васильевичу нравился выдавший виды образованный шотландец; особую ценность для посольских дел сберегателя имело то обстоятельство, что генерал состоял в переписке с тридцатью другими Гордонами, служившими на континенте у разных государей, а также с некоторыми важными лицами в самой Англии, благодаря чему был в курсе всех европейских дел. После первого Крымского похода Гордон получил чин генерал-аншефа и сравнялся с родовитым московским боярством — пожалованный правом зваться по отчеству, стал Петром Ивановичем (отца звали Джоном). И вот все достигнутое поставлено под угрозу



из-за глупой дворцовой распри! Гордон в сердцах захлопнул дневник и спрятал его в ящик письменного стола.

Что же делать? Ход событий припер его к стенке, поставил перед необходимостью выбора. Конечно, он благодетельствован князем-оберегателем, но, в конце концов, он служит не ему, а законным государям.

Когда стемнело, Гордон тихо поднял Бутырский полк и выступил из Москвы по Ярославской дороге. За ним тайно вышли из города Елецкий полк Франца Лефорта и другие иноземные полки. К полудню они были в лавре.

Все лето, после возвращения из похода, князь Василий Васильевич провел в своем загородном доме в селе Медведково. Отсюда он наблюдал крушение Софьи и свое собственное падение как бы со стороны. Когда приезжал в Кремль, смотрел на царевну с какой-то нежной грустью. Вспоминал степную кошку в клетке. Что ж, все эти годы он старался не допустить нового пролития крови. Пусть все идет, как должно идти. Он ничего не хочет изменить. Останется верен себе. И ей. Спасти себя очень легко — надо лишь уехать к Троице. Но он так не сделает — бог знает почему. Наверное, просто не хочет, чтобы остаток дней хлеб и вода горчили предательством. А может, глубже: после того как загубил жену, хочет сохранить хоть какое уважение к себе? Или даже — покарать себя? Бог знает.

Двоюродному брату, князю Борису Алексеевичу, который звал его в лавру, уверяя, что Петр примет его отлично, Голицын ответил отказом.

В свой дом в Охотном ряду он наведлся всего дважды. Первый раз — чтобы принять Мазепу. Гетман был, как всегда, любезен, остроумен, обаятелен. Восторгался военными подвигами сберегателя и, сравнивая его с Дарием, находил, что последний стоит гораздо ниже яснееоченного князя, — ведь персидский царь не только не выиграл ни одного сражения у скифов, но и потерял почти все войско при отступлении через степи. Однако от Голицына не укрылось, что, поднося обычные подарки из гетманской казны, Мазепа на сей раз не домогался ответных милостей. Видимо, считал его конченным человеком. Что ж, нюх у старой лисы всегда был превосходный.



В другой раз он принимал дома виконта де ла Невилья, состоявшего на службе у польского короля Яна Собеского. Это был французский дипломат, хорошо знавший свет, дворы, церемониал и интересы монархов, которые специально изучал, чтобы предлагать свои услуги всем, кто в них нуждался. Всю свою жизнь он провел в подобных поручениях — отчасти из-за удовольствия видеть свое имя в газетах, отчасти потому, что путешествовать с титулом, вовсе не думая ни о чем основательном, виконт считал наиболее разумным, удобным и приятным препровождением времени. Те, кто его близко знал, отзывались о нем как о человеке, который подбирает на своей дороге все хорошее и при случае избавляется от всего дурного.

При виде представителя культурной Европы Голицын неожиданно для себя воодушевился. Вновь ощутил себя сказителем слов и делателем дел. Был в ударе. Придал образованной беседе неотразимое очарование светской непринужденности. Невиль узнал, что в этом доме любят иностранцев, в особенности французов. Да, да, подтвердил Голицын, он является страстным поклонником их великого короля, солнечного Людовика, который сумел сочетать собственную славу с благоденствием своих подданных. Он должен признаться господину послу, что подарил сыну Мальтийский крест с портретом его величества, и юноша с признательностью и восхищением носит его на груди. Невиль удивленно поднял брови. Голицын предупредил его вопрос. Нет, он не питает никакого предубеждения против католицизма. Совсем недавно, например, он разрешил французским иезуитам-миссионерам проехать в Китай через Сибирь. Со временем они получают разрешение открывать в Москве свои знаменитые школы и строить костелы в Немецкой слободе. Впрочем, и сейчас католики свободно проводят богослужения в своих домах.

Перед обедом Голицын показал виконту дом. В обширной главной палате, где проходила беседа, Невиль насчитал сорок шесть окон с витражами, изображавшими русских князей и святых. С середины сводчатого потолка сияло солнце, вызолоченное сусальным золотом; вокруг него помещались посеребренный месяц в лучах, небесные круги с планетами и знаками Зодиака. От солнца на трех позолоченных прутах свисало белое костяное паникадило о пяти поясах, в каждом поясе по восьми подсвечников. В двадцати позолоченных клеймах по краю свода фряжским письмом были писаны лица пророков и пророчиц.



На стенах висело пять зеркал (одно в черепаховой раме) и портреты святого князя Владимира Киевского, царей Иоанна IV Васильевича, Федора Иоанновича, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, Иоанна и Петра Алексеевичей. В спальне, служившей одновременно и кабинетом, стояла ореховая кровать немецкой работы со сквозной резьбой, изображавшей травы и птиц. Стены украшали четыре зеркала, две арапские маски и иноземные гравюры с чертежами европейских городов. Здесь же находились девять стульев, обитых камками золотными, десятки часов фигурных, боевых и столовых, в черепаховых футлярах, обтянутых красной кожей и оклепанных китовым усом, дорогие безделушки, шкатулки со множеством выдвижных ящичков, янтарная чернильница. С особой гордостью князь завел гостя в библиотеку. Вдоль ее стен тянулись полки, уставленные бесконечными рядами книг, альбомов, карт, радующими глаз своими золочеными и тиснеными переплетами. Перед Невилем запестрели сотни названий на русском, польском языках, на латыни: «Книга о гражданском житии, или о поправлении сих дел, яже належат обще народу»; «Тестамент, или Завет Василия царя греческого сыну его Льву Философу»; «Како царица Олунда близнят породе и како их свекровь и ея мать цесаревна хотя погубить»; «Перевод с польского письма, глаголемая алкоран Махметов»; «Книга о послах, где кому в котором государстве поклониться»; «Книга о строении комедии»; «Устав воинский Голландской земли»; «Летописец Киевский»...

За обедом — плотным и в то же время изысканным — виконт имел случай заметить, что князь был единственный из известных ему московитских вельмож, кто не пил водки и не заставлял напиваться до бесчувствия своих гостей.

Разговор не прерывался ни на минуту, оставаясь таким же приятным и содержательным. Голицын сетовал на косность московского быта. Он всеми силами убеждает бояр учиться самим и отдавать своих сыновей в латинские училища или, по крайней мере, приглашать для них польских учителей, для чего ввел свободный въезд и выезд за границу, — так ведь не едут, не приглашают! Кое-что, правда, сделано — открыта Славяно-Греко-Латинская академия, московское правительство содержит резидентов при главных дворах Европы, — но как робко, как неуверенно проникает образование в московские пределы!



Что ж, надо ждать, в таком деле важно не наломать дров. Терпеливое убеждение и личный пример постепенно сломают старозаветные формы быта. Известно ли, например, господину виконту, что за последние годы в деревянной матушке-Москве появилось около 3 000 каменных палат? А причиной тому послужило строительство этого самого дома, в котором он, князь, имеет честь беседовать со столь просвещенным гостем...

Невиль покинул дом в Охотном ряду восхищенный оказанным ему приемом. Вообще, он всегда был рад поболтать о людях и оговорить их. Но северный князь совершенно очаровал его. Придя домой, виконт записал в путевой журнал: «Я думал, что нахожусь при дворе какого-нибудь итальянского государя. Разговор шел на латинском языке обо всем, что происходило важного в Европе; Голицын хотел знать мое мнение о войне, которую император и столько других государей ведут против Франции, и особенно об английской революции⁷... Голицын хочет населить пустыни, обогатить нищих, дикарей, сделать их людьми, трусов сделать храбрыми, пастушеские шалаши превратить в каменные палаты. Дом Голицына — великолепнейший в Европе».

Всю свою последующую жизнь де ла Невиль называл русского князя не иначе как великим человеком.

В лавре вовсю шел розыск по делу о злом воре и еретике Федьке Шакловитом. Каждое утро на стол Петру ложились все новые бумаги с показаниями свидетелей, число которых росло как снежный ком. Петр читал, багровел, взгляд его становился диким. Не стесняясь ни матери, ни жены, ни архимандрита Викентия, он с утра накачивался водкой, устраивал ежедневные пиры со своими молодыми друзьями и иноземными офицерами. На его стол обыкновенно ставили огромный кусок копченой ветчины, несколько рыбных кушаний, поджаренных на ореховом масле, полпоросенка, дюжину полупрожаренных пирогов с мясом, чесноком и шафраном и три большие бутылки — с водкой, испанским вином и медом. Обидался и упи-

⁷ Имеются в виду события 1688 г., когда английский парламент предложил английскую корону штатгальтеру Голландской Республики Вильгельму Оранскому. Последний король из династии Стюартов Яков II бежал из Англии.



вался до непотребства. Придя полночь с пирушки в опочивальню, кричал на жену, поносил ее бранными словами. Царица Евдокия молчала, боясь взглянуть в его дико блуждающие глаза. Дождавшись, пока он, не раздеваясь, бросался на кровать, она стаскивала с него сапоги, кафтан и ложилась рядом, сотрясаясь от беззвучных рыданий.

Уход из Москвы иноземных полков окончательно склонил чашу весов на сторону лавры. Вечером 6 сентября стрельцы потребовали у Софьи выдать им Шакловитого. Царевна грозно прикрикнула на них, но в ответ услышала угрозы ударить в набат. Стоявшие рядом с ней стрелецкие сотники испуганно загалдели, что в случае мятежа им самим погибнуть и Шакловитого не спасти. Пускай царевна выдает дьяка. Ей показалось, что все это уже было. Она не сразу вспомнила когда.

На следующее утро Софья приобщила Шакловитого и простилась с ним. В тот же день его привезли в лавру, где сразу устроили допрос. Он от всего отпирался, сознался только, что подбивал стрельцов на венчание Софьи царским венцом. Тогда его потащили в застенок на монастырский воловий двор. Подвесили; палач взялся за кнут, которым можно с первого же удара выдрать со спины клок мяса. Тут Шакловитый заговорил: вначале сознался только в том, что хотел убить царицу Наталью Кирилловну, но чтоб царя — ни-ни; однако на пятнадцатом ударе подтвердил все слова изветчиков.

На другой день назначили вторичную пытку — чтобы выведать об измене князя Василия Голицына. Шакловитый так ослаб, что его пришлось нести в застенок на руках. Он обещал все рассказать, если его не будут пытать. Пытку отменили, дали ему перо и бумагу. Однако князь Борис Алексеевич, охраняя честь фамилии, забрал признания дьяка себе.

Тем же вечером в лавру приехал, наконец, и сам Голицын. В монастырь его не пустили, велели ждать царского указа в посаде. Здесь навестил его Гордон: князь был печален и неразговорчив. Наутро Голицына вызвали в лавру и на лестнице архиерейских палат зачитали указ об отнятии имения и ссылке в Каргополь — за то, что докладывал дела царевне Софье мимо государей и под Перекопом воинского промысла никакого не чинил, а отступил, каковым нерадением причинил государству разорение, а людям тягость.



12 сентября патриарх и бояре собрались, чтобы вынести приговор Шакловитому. Выслушали розыскное дело, посоветовались, решили: смертная казнь. Поднесли приговор Петру для подписи. Он сидел неподвижно, глядя на лежавшую перед ним бумагу и перо. Бояре зашептались: государь молод, первый приговор — тяжело, понятно... А он просто считал про себя до полста. Досчитав, взял перо, быстро вывел четыре буквы своего имени...

Ободранного, истерзанного Шакловитого вывели к плахе на площади перед лаврой, у Московской дороги. На его грязной, с запекшейся кровью груди болтался остаток его богатств — образок Николая Чудотворца в серебряном окладе, надетый на него Софьей перед отправкой в лавру. Осторожно сняв образок с себя, Шакловитый с поклоном передал его палачу... Вслед за дьяком были казнены его сообщники, Петров и Чермный.

Двумя днями позже, в Дорогобуже, воевода Борис Суворов схватил Сильвестра Медведева с Гладким. Обоих привезли в лавру. Медведева отлучили от церкви, расстригли, нарекли прежним мирским именем Симеон и били кнутом⁸. Гладкого казнили.

Последним гостем в Троице был Мазепа. Он ждал опалы и был удивлен ласковым приемом. В посаде для него разбили великолепный шатер, прием у Петра прошел как нельзя лучше. Осмелевший гетман начал жаловаться, что у него вымогали в пользу князя Голицына в разное время червонцами и ефимками 11 000 рублей, да серебряной посуды более 3 000 пудов, да разных драгоценных вещей на 5 000 рублей с лишком, да три лошади турецкие с убором на 1 000 рублей, — все это из именишка, которое по милости монаршей нажил на гетманском уряде; просил вознаградить его из имения бывшего оберегателя. Спустя три дня он уехал, осыпанный дарами и милостями.

В Москву к царю Ивану полетело письмо Петра с извещением об умысле «третьего зазорного лица» — Софьи — и требованием лишить ее титула соправительницы и выслать из Кремля на жительство в Новодевичий монастырь. Иван во всем согласился с братом. В Новодевичьем для царевны были приготовлены хорошо убранные комнаты, прислуга и все необходимое; ей было разрешено по большим праздникам видеться с сестрами

⁸ Медведев был сослан навечно в отдаленный монастырь; впоследствии его уличили в сношениях с волхвами и казнили.



и тетками. Однако Софья не спешила с переездом, по-прежнему расхаживала по Кремлю, гордо снося от обнаглевших придворных упрёки в непристойном поведении.

В ожидании, пока Царевна покинет Кремль, Петр обратился к тому, по чему томила душа, — к военным потехам. В середине сентября ушел с гвардейскими полками в Александровскую слободу и здесь, на обширных полях, целую неделю занимался конным и пешим учением под руководством Гордона, с пушечной пальбой, в присутствии обеих цариц. Маневры проводились широко — аж до Лукьяновской пустыни. Отсюда до Переяславля оставалось верст двадцать пять, не более. Однако Петр утерпел и, не взглянув на свой ковчег, возвратился в лавру. Гордона одарил камкой и атласом.

5 октября Софью, наконец, выперли из Кремля. На другой день Петр въехал в Москву. Стрельцы встретили его, стоя на коленях, расставив вдоль дороги в знак своей покорности плахи с воткнутыми в них топорами. Сверкая глазами, Петр смотрел на согнутые спины, на топоры. У него чесались руки оттяпать сотню-другую мятежных голов.